

ОЛЬГА
ПУССИНЕН

СЕДЬМЫЕ НЕБЕСА



СОДЕРЖИТ

НЕЦЕНЗУРНУЮ

БРАНЬ

ВАСИС  АС

18+

Ольга Пуссинен
Седьмые небеса

«ЛитРес: Самиздат»

2017

Пуссинен О.

Седьмые небеса / О. Пуссинен — «ЛитРес: Самиздат», 2017

Вы открыли первую страницу романа Ольги Пуссинен «Седьмые небеса»? Уверенный, жёсткий стиль. Синтез философии и фантастики, историко-приключенческой и любовно-психологических линий. Встреча с любимым мужчиной, произошедшая накануне, становится своего рода толчком к пробуждению «генетической памяти» главной героини, которая переплетается с её жизнью в настоящем. Внутренний мир Валентины буквально взрывается отголосками прошлых воплощений. Генетическая память позволяет героине сначала перенестись в прошлое, а потом встретиться с двумя своими предыдущими реинкарнациями, чтобы втроём спасти православный монастырь под Юрюзанью от разграбления войсками хана Батыя. Содержит нецензурную брань.

© Пуссинен О., 2017

© ЛитРес: Самиздат, 2017

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

61

Все совпадения имен персонажей и топонимов с реальными являются совершенно случайными.

...И внял я неба содроганье

*И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье...*

А.С. Пушкин

*Я наяву вижу то, что многим даже не снилось,
Не являлось под кайфом, не случалось в кино...*

Сплин

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Утро началось с дождя. Дождя Валентина не видела, но, часов в шесть, ненадолго проснувшись от рассветной прохлады, услышала мягкий, вкрадчивый стук капель, сочащийся в открытое окно, и, натянув на себя скинутое ночью покрывало, вновь погрузилась в неровную, дрожащую дремоту, наполненную причудливыми быстрыми сновидениями, которые почти всегда посещали ее, если ночевать приходилось вне дома. Гостиничные сны были, как правило, резкими, красочными и слегка тревожными.

В восемь часов она проснулась окончательно и минут десять лежала, смотря на мягко покачивающийся желто-оранжевый атлас портьеры, закрывавшей окно, вслушиваясь в стук собственного сердца и звуки окружающего мира, припоминая утренние сны. Сердце стучало ровно, сильно и устойчиво. Звуки гостиничной жизни были на удивление тихими и слабыми: лишь один раз на ресепшен, находившейся практически за стеной ее номера, слабо тренькнул телефон, и портье, тут же схвативший трубку, ответил звонившему что-то короткое и однозначное, – да, да... нет, да. Сны, посланные сегодня Валентине, были исключительно яркими и образными. В первой части ей привиделось, что верхние передние зубы ее стали вдруг лопаться, как спелые орехи, раскрываясь фиолетово-розовой скорлупой с темно-коричневыми ободками, взявшись за которые, она с легкостью, безболезненно вытащила из десны штуки четыре или даже пять. Во второй части Валентина увидела саму себя обнаженной: тело покрывал плотный слой вшей, облепивших бедра, живот, грудь и руки густой шевелящейся шерстью. Насекомые весело ползали туда-сюда по Валентиным пространствам, а она лежала неподвижно, словно мать сыра земля, боясь шелохнуться и нарушить их хлопотливую возню, подобную броуновскому движению, бесконечному и неостановимому. «Ну, вши-то вроде к добру», – подумала Валентина, силясь вспомнить чувства, сопровождавшие сновидения, но чувства отсутствовали: не было ни страха, ни отвращения. «Авось, обойдется, – промелькнула в голове мысль неизвестно о чем. – Что обойдется-то?.. И когда ж ты перестанешь квасить? Женщины спиваются быстрее!..» Но похмелье, кажется, не грозило, хотя последний бокал вина вчера был явно лишним, как это часто случалось. Впрочем, кьянти пошло легко и радостно, беседа в целом осталась приятной, а поцелуи провожавшего ее Спутника сладкими и томительными. «Хорошо, что он не остался, – подвела она итог, – всех вшей бы мне распугал...» Русского надрыва, разумеется, избежать не удалось, но ту никем не отмеченую границу, за которой на следующее утро становится стыдно, они не перешагнули. Точно? – Да точно, я тебе отвечаю.

После того как обзор вчерашнего вечера был закончен, Валентина поняла, что в интерьере номера, который, впрочем, по его примитивизму и упрощенности дальше некуда и инте-

рьером-то было сложно назвать, ей не хватает самого главного: окна. Почему она вообще вчера задернула эту штору? – А потому что этаж был первый. А окно, значит, распахнула, словно калитку, – заходи, народ, на мой огород! Так? – Именно так. В принципе, как раз этот поступок был полным и совершенным безрассудством, – оставить открытым окно на ночь в помещении на первом этаже. Такого, наверное, не делал никто по всей России последние двадцать пять лет. Уж если провинциальные бабуси захлопывают окна и запирают двери на засовы, опасаясь грабителей и маньяков, которые могут, сбившись с пути, завернуть в их глухую деревню, то что говорить о Москве? – Ты знаешь, сколько здесь понаехавших, четверть, а то и треть которых точно занимаются всякими темными криминальными делишками? А у тебя сын, между прочим. Воспоминание о Елисее вызвало в Валентиновой душе традиционный приступ чистосердечного раскаяния в легкомысленном поступке. В самом деле, почему она вчера не закрыла окно? И ведь не забыла же, просто решила оставить открытым, вот так, да. Потом сбросила с себя всю одежду, забралась нагишом под одеяло и уснула. Скорей всего, разозлилась на то, что Спутник все-таки с ней не остался. Даже вот именно так, что уж тут хвостом-то вилять перед самой собой. Это все равно не повод оставлять окна открытыми, это тебе не Европа. – Ладно, я больше так не буду.

Вздыхнув, Валентина вытянула руки и с наслаждением глубоко потянулась, так что сцепленные в замок пальцы даже хрустнули. Перевернувшись на постели два раза, она поняла, что сон уже не вернется. Значит, надо встать и занять себя делом, которого, в общем-то, не было: впереди расстилался совершенно свободный длинный летний день, в конце которого ей надлежало сесть в поезд и отправиться на северо-запад, от тополей к соснам, от жары к сдержанному умеренному теплу. «По-вински нельзя сказать *будет жарко*», – как-то в начале их знакомства поделился с ней Юкка, с которым они тринадцать лет назад в течение первых трех или четырех занятий пытались вместе штудировать русский синтаксис. – «Как нельзя?.. – изумилась тогда Валентина. – А как же это говорится по-вински?» – В ответ Юкка добросовестно задумался и через две минуты решил: «Говорят: будет теплее. Или: еще теплее». В общем-то, оказалось, что язык, как всегда, не лгал: бывало тепло, бывало теплее, бывало еще теплее, но жарко бывало так редко, что, казалось, будто никогда и не было. Вернее, один раз было, но тогда, когда она как раз уехала в Россию. За свою десятилетнюю жизнь в Финляндии она никогда не помнила, чтобы утро вползало в комнату таким томным, лениво-разнеженным воздухом, мягким и густым, словно кошачья лапа. Винские утра были бодры и подтянуты, а прохлада, веющая из лесов, призывала не лежать на печи, а пойти лучше до обеда выкорчевать пару пней, потому как к обеду точно польет дождь, и земля тут же раскиснет.

Сделав шаг с кровати, она оказалась у окна, поскольку комната была крошечная, и сильным движением откинула портьеру в сторону. За окном было ясное, чистое и теплое позднейюньское утро, наполненное той теплотой и истомой, от которых сразу становилось понятно: будет жарко. Не то адово пекло, в котором две трети страны поджаривалось год назад, а нормальный (а не аномальный!) красивый летний день, когда девушки будут ходить в пестрых легких сарафанах, а юноши в шортах и майках, дети будут, не капризничая, есть мороженое, а мамы и папы смотреть на них умиленными спокойными взорами, не боясь за их хрупкое детское здоровье. От прошедшего на заре дождичка густые хлопья тополиного пуха намокли и скатались в клубы, белыми шарами валявшиеся по всему дворику, пустому и тихому; сюда даже не достигал голос эстакады, которая находилась практически за углом и уже должна была шуршать, жужжать, гудеть и реветь своими стальными конями разных мастей и пород.

Дворик был по-московски уютный и просторный, усаженный тополями и акациями, которые уже отцвели, – не чета длинным узким питерским колодцам, кидавшимся в глаза стенами и окнами соседних домов. Прямо напротив Валентины, метрах в тридцати под деревом лежал большой черно-рыжий дворовый пес и что-то грыз, уткнув в землю белую от тополиного пуха морду. Уловив ее взгляд, он оставил свою добычу и, повернув свою крупную лобастую башку,

посмотрел прямо ей в глаза, вывалив наружу ярко-красный язык. Несколько мгновений они осматривали друг друга, а потом Валентина вдруг сообразила, что стоит перед окном в чем мать родила, и кобель прекрасно это понимает: он по-собачьи склонил голову набок и взгляд его стал определенно веселее и хитрее. «Ну, ты еще тут мне подмигни!» – пробормотала Валентина, чувствуя, что краснеет от простой звериной откровенности, и так же сильно задернула шторы обратно. «Домой тебе пора, кудрявая», – вслух сказала она самой себе и в очередной раз удивилась тому, что называет Винляндию своим домом, хотя это произошло уже давненько, лет через пять после развода.

– Я бы вообще запретил эмигрантам писать про Россию, – сказал ей вчера вечером Спутник, когда они, голые, валялись вот на этой же гостиничной кровати, остывая после любовных утех и неспешно, с чувством, покуривая одну сигаретку на двоих. – Вы или поливаете страну грязью, или растекаетесь потоком розовых сопель и слюней о том, чего уже нет в помине, при этом зная не зная, чем живет ваша Раша, сволочная она для вас или любимая.

– Я никогда не писала о России, – сдвинув брови, отрезала Валентина. – Я пишу только о самой себе. У меня не хватает ума делать глобальные историческо-философские обобщения и выкладки.

– Пиши лучше о винах, хоть пару лавров сорвешь, – пуская связку колец в потолок, съехидничал Спутник. – Такие книжки здесь всегда вызывают интерес, особенно если будешь играть на струнах зависти: а вот, мол, в больницах-то там розовые пижамки выдают бесплатно. А у нас-то тридцать лет назад стелили дырявые простыни и в сортире дуло. Слушай старших, а то так и будешь прозябать в безвестности.

– Ты меня старше ровно на три месяца, – отмахнулась Валентина. – Не могу я писать о винах, я их не знаю.

– Как это не знаешь?.. – удивленно повернул к ней голову Спутник, так что она в очередной раз крупным планом увидела его близорукие глаза редкого светло-карего цвета: глаза цвета виски, как раз в тон его любимому напитку, которого они немало выпили, проводя время в этих и им подобных геополитических беседах. – Ты же с ними живешь. Как можно за десять лет не узнать того, с кем живешь?

– Я живу не с ними, – начиная раздражаться от этих вечных споров про белого бычка, отвела она его руку, вкрадчиво ползущую к внутренней стороне ее бедра. – Я живу параллельно им. И наши параллельные не пересекаются и вряд ли когда-нибудь пересекутся, что бы там не утверждал Лобачевский. Мы живем строго по Евклиду. А то, что в винских больницах выдают розовые пижамки, меня как-то мало утешит, коли я попаду в этот казенный дом. Да их и выдают-то благодаря России, – только из-за того, что умная европейская буржуазия, глядя на Советский Союз, поняла, что нельзя совсем не кормить собаку, которая тебе служит. Если ее не кормить, она превращается в волка. Как это... как это ты делаешь такие колечки?.. Я тоже хочу, покажи еще раз.

– У тебя не получится, – выдувая очередную связку, снисходительно усмехнулся он, явно обидевшись за отторгнутые эротические поползновения. – Я же говорю, – слушай старших. Я уже ползал, когда ты еще сидеть не умела. Вот она – ваша эмиграция. Варитесь в собственном соку, переваривая и отрывивая друг друга. Скоро у вас наступит несварение желудка и острый гастрит. Но ведь зато в тридевятом царстве!.. Хотя ты во многом права: Россия никогда не могла себя обустроить, какие бы идеи ни выдвигали всякие нобелированные возвращенцы, зато она всегда будет катализатором к переменам для других стран.

– Хватит меня шпынять своим великодержавным мужским шовинизмом, – поморщилась Валентина, вдруг остро, до внезапного холода под сердцем почувствовав, что вечер вступает в свою финальную часть, за которой последует разлука неизвестной длительности. – Я никогда осознанно не хотела уехать. Это все получилось как-то само собой...

– Ну вот и пей теперь нарзан. Хлебааай... – не сдаваясь, продолжал издеваться он, явно отыгрываясь на ней за свои прошлые поражения в вечных боях между западниками и славянофилами, заводимых где-нибудь в Парижах и Нью-Йорках. – Собирай кисель с берегов полной ложкой. Не лезь в русскую тоску.

– Знаешь... – затушив сигарету, с горечью во рту и в душе, садясь на постели и поворачиваясь к нему, сказала Валентина. – Знаешь, меня иногда просто тошнит от высокой интеллектуальности наших с тобой разговоров. Скажи мне что-нибудь простое, ну пожалуйста. Я ведь завтра уеду, а ты этого словно и не помнишь...

Спутник сразу стал серьезным и замолчал, пристально и деловито разглядывая потолок. Валентина высунула язык и скорчила ему рожу: ме-е-е! – а затем, вздохнув, уже наклонилась вперед, чтобы окончательно подняться, как вдруг он, резко приподнявшись, сильно обхватил ее, до боли сдавив ей горло, так что она инстинктивно впиалась в его руки ногтями, и повалил назад, зарывшись лицом в ее волосы. Какое-то мгновение они лежали, окаменев в этом судорожном объятии, поскольку оба прекрасно понимали, что миг пира плоти в их несурзной жизни заканчивается, сменяясь на непристойный по-русски пир духа, а потом он еле слышно, на выдохе, медленно прошептал прямо ей в ухо: Лю...биемая...

Она сразу обмякла, растекаясь, словно мороженое на блюдечке, от острого, до костей и когтей пробирающего счастья этого редкого слова, которое из него приходилось просто выбивать прямыми указаниями на грядущее расставание, а, возможно, и полный конец, где нет ни хаоса, ни печали, ни воздыхания, а есть только слова кириллицей, все более и более скудные, – не зови меня, не докличешься, только в облаках ветер вычертит имя... Впрочем, вероятно, если бы Спутник повторял эти заветные слова часто, она бы так за него и не цеплялась, – Шуриковы изначальные полуистерично-болезненные бесконечные признания в любви всегда вызывали в ней смутные сомнения в их подлинности. А тут раз в год признался, как под пыткой на дыбе, – так, может, и не совсем соврал. Лю...бимая... я тебя отведу к самому краю вселенной. Через огонь, через воду, через матушку сыру землю. Другим путем туда не попадешь, – не протоптана дорожка, не проезжена. Готовься: три пары железных башмаков сносишь, чтобы кровь из ноженек потекла, три железных посоха собьешь, три железных хлеба сглодаешь, и лишь после отведаешь три минуты запретного блаженства.

Она пустодумно встряхнула головой, отгоняя лишние воспоминания, и, переместясь от портьера к зеркалу, посмотрела на свое отражение требовательным и затаенно-придирчивым взглядом, так хорошо знакомым женщинам, которым еще довольно далеко до жизненной отметки *баба ягодка опять*, но борьба за вечную молодость уже началась. С той стороны стекла на Валентину глянула красивая обнаженная Валентина, за ночь помолодевшая лет на семь-восемь, как это всегда бывало после активной любовной зарядки именно с тем, с кем и хочется ею заняться. Волосы после сна сбились в крупные густые солнечно-светлые кудри, кожа словно излучала изнутри мягкое затаенное сияние, подчеркивающее скулы нежным яблочным румянцем, губы налились горячим красным цветом, а природная миндалевидность глаз вдруг усилилась, как на фотографиях из отрочества, с которых на взрослую Валентину таранилась любопытная девочка, белобрысая и раскосая. У зеркальной Валентины в это утро изменился даже взгляд, она рассматривала свою хозяйку влажными, чуть бесстыдными глазами совершенно чужого цвета: темно-серого с фиолетовым отливом, – с той самой поволокой, о которой и упоминал в своих стихах Спутник. «Беда с тобой», – укоризненно, хоть и ласково сказала Валентина отражению, но зеркальная Валентина лишь лукаво усмехнулась, не желая устыдиться, и повела плечами, от чего заволновались обе груди, дерзко торчавшие сосками вразлет, а на животе, к которому Валентина всегда была особенно придирчива, дрогнул маленький, чуть вытянутый пупок. Впрочем, сегодня даже к животу нельзя было придраться: все было так, как оно должно было быть, – в меру выпукло, в меру плоско, в меру мягко и в меру упруго.

«Вот что секс животворящий делает», – не удержавшись, поднеся указательный палец к губам, прошептала то ли Валентина своей самой верной подружке, то ли она ей, – обе, впрочем, тут же засмутились нежданно слетевшего с уст богохульства и, запрокинув руки, закрыли лица локтями.

Она отправилась в душ и внезапно заторопилась, стремясь побыстрее вырваться из этой маленькой комнатки, сжимавшей ее мысли своим периметром, как объектив камеры, очерчивавший строгие границы рамок, в которые должен уместиться многогранный пейзаж. «Скорей, скорей!» – приговаривала она, ежась под прохладными струями воды, выгонявшими из головы последний хмель. «Быстрее, быстрее!» – нетерпеливо притоптывала босой ногой, безжалостно раздирая буйны кудри. «Давай, давай!» – как кричала в бассейне их тренерша по водной аэробике, бодря поджарая эстонка Хели, лет на пятнадцать старше Валентины. – «Давай, давай, работай! Оба ноги, оба ноги!..» Натягивай на оба ноги свои любимые походные штаны цвета хаки: выпадение из буден закончилось, – помятое вечернее платье в крупных цветах грустно свисает с кресла, а на смену высоким каблукам из-под кровати выглядывают тупые темные носы дорожных туфель.

Покидав как попало вещи в чемодан, Валентина без сожаления покинула комнатку, не решившись даже на прощание посидеть в туалете, который, хоть и был безупречно чист, тем не менее, вызывал какие-то смутно-брезгливые чувства. На ресепшене сидел уже не ночной портье, а молоденькая девочка по виду неполных двадцати лет со слишком гладкими, металлически-светлыми, явно чужими волосами и невероятно длинными ровными плоскими ногтями, половина которых была выкрашена розовым лаком и густо украшена блестками. Милостиво разрешив оставить вещи до вечера, девочка с наивным детским любопытством, не стесняясь, осмотрела Валентину с ног до головы. «Нечего пялиться», – мысленно посоветовала ей Валентина, ощутив укол ревности к нерелексирующей силе молодости, и дитя, действительно, поджало губки и перевело взгляд на окошко, на котором от лихих прохожих была поставлена крепкая решетка в сердечко. Все так же торопясь, Валентина выскочила во двор, с размаху угодила прямо в наплаканную ночным дождем лужу, распугала стайку мирно купавшихся в ней голубей, взмахнула обеими руками, словно собираясь взлететь вместе с ними, потом вдохнула всей грудью теплый и тягучий, словно вишневое варенье, московский воздух и наконец-то успокоилась. Знакомый пес все так же валялся под тополем, уже догрызая свой завтрак. На шум крыльев он приподнял голову и лениво поглядел на Валентину одним прищуренным глазом, – второй был закрыт в сладкой дремоте. «Ступай уже отсюда, шептунья», – как бы посоветовал он ей, затем смачно, во всю пасть зевнул и снова уронил лохматую голову в белый пух.

– Ну пока, Серый, – сказала ему Валентина, так что вышедший вслед за ней из гостиницы постоялец, – толстый и рыхлый мужчина непонятного возраста в костюме и галстук в яркую зелено-красную полоску (это в жаркий-то летний день, бедняга!), с удивлением воззрился на нее, не понимая, с кем она может говорить без телефона или наушников. Валентине вдруг нестерпимо захотелось ему подмигнуть, чтобы с наслаждением увидеть, как его удивленная физиономия станет совсем растерянной: мягкие щеки вздрогнут, маленький рот приоткроется прописной буковкой *O*, брови взлетят к ежику волос, покрывая лоб натужными морщинами, короткие, словно подстриженные ресницы часто заморгают, а в блеклых, по-бычьему широко поставленных глазах бегущей строкой отразится судорожное шевеление мысли: что нужно сделать?.. С огромным трудом удержав себя от хулиганской выходки, она одарила провинциального бизнесмена дружески-отстраненной улыбкой, чуть не сказав ему «Хорошего продолжения дня!» по-вински, и, не дожидаясь обратной реакции, устремилась к темно-коричневому, квадратному нутру арки, выводящей на бульвар. Винский этикет въелся в нее настолько крепко, что нужно было прожить в России не менее недели, чтобы начать говорить *спасибо* и *извините* на русском. А сегодня в ее командировке шел день пятый? Нет, уже шестой: И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.

Завернув за угол, она сразу наткнулась на какую-то кофейню и решительно вошла внутрь, раздумывая о том, что вчера в это время она еще только садилась в машину, чтобы отправиться из Юрюзани в Москву. Пространство уплотнилось и выстроилось чередой гостиниц, ресторанов, столовых и кофеен, предлагавших напиться разного по качеству кофею. В юрюзанской студенческой столовой кормили замечательно вкусными майонезными салатами советской традиции, которые Валентина всегда ела с искренним удовольствием, но вот кофе там был отвратительный, засыпавшийся из пакетика в чашку и заливавшийся кипятком. Пить этот химический раствор было совершенно невозможно, и Валентина каждый раз досадовала на себя, что не помнит этого факта. А может, голова забывала его в надежде, что следующий приезд порадует переменами и в пакетике окажется порошок, напоминающий кофе хоть запахом, если не вкусом.

– Американо, – не раскрывая солидную кожаную папку меню, сказала она подошедшему мальчику в длинном черном фартуке. Волосы у мальчика были такого же металлического цвета, как и у гостиничной девочки, но не распущены по плечам, а из требований гигиены собраны в хвост. Валентина поймала себя на том, что разглядывает мальчиковы ногти с целью сравнения стилей маникюра и не без некоторого усилия перевела взгляд на худое скуластое лицо со слишком острым, выпирающим вперед подбородком. Маникюра на ногтях, к счастью, не оказалось. – Американо, пожалуйста, и стакан минеральной воды, kiitos¹.

Официант вытянул вперед тонкую шею, чутко отреагировал на незнакомое слово, которое все-таки воробьем спорхнуло с Валентиных уст, угадывая, не относится ли оно к сфере напитков или блюд, но потом, решив не попадать впросак и не задавать дилетанских вопросов, уточняя, что же это такое, быстро тряхнул хвостом и отправился за стойку к кофемашине. Машина выглядела солидно, так что кофе обещал быть вкусным. Кофейня, кстати, по оформлению была похожа на ту, куда они со Спутником направились сразу после ее приезда – вероятно, одной сети. Но та находилась на Поварской. Они зашли туда выпить по чашке кофе, в результате выпили по два бокала коньяка, потом Спутнику не понравилась шумная компания кавказской направленности, заседавшая за соседним столиком, и они переместились в ресторан Союза Писателей. Он с самого начала хотел ее туда повести, но она воспротивилась.

– Хвастаться ведь тащишь, небось? – думая съязвить, спросила она, но поддеть его оказалось невозможно: как и большинство мужчин, он сам был в восторге от возможности почесать свое тщеславие, раздутое так же болезненно, как пузырь на мозоли.

– Разумеется, – с искренним недоумением развел он мягкими и нежными, маленькими ухоженными ладонями белоручки с изящными тонкими пальцами. – Красивой девушкой обязательно надо похвастаться. Положение обязывает. Ладно, выпьем за встречу здесь, а продолжим там. Ну, расскажи, что там интересного в Юрюзани? Вот ведь, – всего-то двести километров, а к вам в Европы, право слово, проще выбраться. Ну, давай, со свиданьем! Целоваться сейчас не будем, да? Потом уж как следует поцелуемся...

Он неторопливо выпил две трети благородной жидкости, плескавшейся в бокале, засунул в рот ломтик лимона и, сморщившись, вопросительно посмотрел на Валентину. Она же, как и каждый раз при встрече, внимательно всматривалась в него, стараясь понять, откуда и каким образом сформировалась в нем эта зачаровывающая небрежность и мягкая уверенная наглость, не оставляющая у окружающих никаких сомнений в правоте его действий? Врожденная ли и обусловленная прихотливым узором звезд на небе в час рождения: Марс в Тельце указывает на любовь к разного рода чувственным наслаждениям и удовольствиям, роскоши и материальному благополучию, часто, впрочем, оборачивающемуся хроническим расточительством. От литературных премий и наград, которыми он был увешан, словно новогодняя елка? Но Спутник действительно был талантлив и имел все шансы не только войти в антологии и

¹

Спасибо (винск.).

анналы, но там и остаться. Или от тестя, хваткого и умелого парторга, как шустрый сперматозоид просочившегося за годы дикого капитализма по газпромовским трубам в лоно совета директоров? И как это он не уследил за своей дочкой, позволив ей выйти замуж за писателя? Впрочем, судя по тому, что отношения у них со Спутником были дружески-деловыми, зять явно вел какие-то, не имевшие к литературе бизнес-дела, а тесть был ходок еще похлеще зятя, – наверняка Спутник не раз прикрывал его своей грудью от тещи. «Хороший мужик, только фамилия у него Херов», – как-то обронил о нем Спутник. – «Не бывает людей с такими фамилиями», – засомневалась Валентина, не понимая, как это часто случалось, шутит ли он, или говорит всерьез. – «Эх, маленькая, знала бы ты, сколько их на белом свете водится». – «Ну, тогда и у тебя в роду точно парочка Херовых имеется». – «Да кто ж их знает, – вполне возможно... Он, кстати, про тебя спрашивал, я ответил, что ты лесбиянка, а то он еще влюбится на старости лет, вздумает на тебе жениться, от этого Херова и раньше-то всего можно было ожидать, а теперь и подавно, – он же чувствует, что жизнь кончается». – «Где это он меня видел?» – изумлялась Валентина. – «Да заезжал по делу на ваш слет соотечественников, замминистра повидать, наскочил на твое выступление. Даже книжку твою у меня потом просил». – «А ты, значит, не дал?» – «Нет, конечно, я ж не совсем дурак. Познакомил его с одной поэтической лет тридцати, стриженная такая, костлявая, как селедка... У него почему-то слабость не к моде, а к поэзии. Ну? Ты что задумалась, маленькая? За встречу же пьем!.. Где была-то: кто любит – не любит – кто гонит нас?..»

Очнувшись от созерцания, она вслед за ним выпила свой коньяк почти до конца, тут же пожалев об этом: и что за неистребимая привычка пить французский Мартель как русскую Столичную?.. Набрав вместо лимона полный рот воздуха, ожидая, пока алкоголь перетечет из горла в грудь и разольется да по жилочкам, она с тем же странным чувством пространственного перенасыщения, под участившиеся удары сердца отмерила расстояние в сутки назад и оказалась во дне четвертом, когда создавались небесные светила для знамений, и времен, и дней, и годов, в храме Иоанна Богослова, находившегося на подворье Архангело-Ущуповского мужского монастыря, в пятидесяти километрах от Юрюзани. Их привезли сюда на экскурсию после второго дня конференции по проблемам билингвизма и многоязычия в полицентричном мире, успешно завершившейся к двум часам пополудни. Из гостей в монастырь поехали только Валентина и профессорша из Иордании Сальма аль-Какая-то, которая по-русски, как выяснилось, могла сказать только *привет* и *хорошо*, – харасо. Каким ветром ее занесло в Юрюзань, было совершенно непонятно, тем более что к лингвистике и многоязычию она не имела никакого отношения, специализируясь на философии архитектуры средневековых мечетей, которых на древней юрюзанской земле с учетом яростного исторического сопротивления татаро-монгольскому игу принципиально не было построено ни одной! Но Сальма, выглядывавшая из своего пестрого в серенький цветочек хиджаба, словно ученая мышь, на несовпадение направленности конференции с областью собственных научных исследований внимания не обращала, бесконечно фотографируя все, что попадалось под руку. Сейчас, впрочем, она смиренно сидела между двумя юрюзанскими преподавательницами на лавочке, поставленной для немощных прихожан вдоль левой стены. Преподавательницы были также завернуты в платочки, но не помусульмански наглухо, а с тем неистребимым кокетством, с которым, вероятно, юрюзанские крестьянки еще во времена царя Гороха надевали на головки кички и кокошники, не забыв выпустить по бокам по две тонких завивающихся русых пряди. У Валентины с собой платка не оказалось, но одна из преподавательниц, Римма Васильевна, заботливо вручила ей свой запасной шарфик, который оказался настолько искусственным, что все время сползал на затылок, и Валентина коротала ожидание тем, что его поправляла. Ждали монаха со сложным именем Адраазар, – он должен был ознакомить собравшихся с историей монастыря, известного, кстати, по всей России, как сообщила Валентине все та же Римма Васильевна еще в автобусе, желтом

тупорылом узике, каких Валентина не видела уже, наверное, лет пятнадцать, с тех пор, как уехала из родных зарайских краев.

Храм был старый, по стилю тянувшийся к нарышкинскому барокко восемнадцатого века, но, тем не менее, никак не дотягивавший до стройной красоты московских церквей, ярус которых были рассчитаны пропорционально, ширина последовательно сужалась кверху и верхний купол возвышался над нижними, подобно длинной срединной свече, горевшей в геометрически-ровном окружении коротких. Здесь же то ли в расчеты главного зодчего закра-лась ошибка, то ли он вовсе был не мастак считать, а прикидывал все на глазок и строил на авось, – так или иначе, но основной нижний ярус получился слишком широким, на его массивное квадратное тело тонкими полосками, как пара четырехугольных блинов, были положены еще два яруса, из центра которых на подставке третьего возвышалась луковка купола, тонкая и слабенькая на фоне всей остальной неуклюжей основательности. Снаружи церковь была выкрашена до предела прилежно и старательно, словно деловой костюм, отутюженный ответственной женой к мужниному собранию, на которое приедет столичное начальство: согласно канонам стиля, красный кирпич стен был расчерчен белыми псевдоколоннами, увенчанными белыми же псевдоарками. Впрочем, изначальный красный цвет стен в процессе обновления почему-то сменили на веселенький оранжевый колор, вероятно, в тон посаженной перед центральными воротами лужайке тюльпанов, игриво раскачивавших под легким летним ветерком своими нерусскими головками. Внутри реставраторская фантазия разгулялась еще сильнее: все четыре толстых столпа, поддерживающие купол, и даже алтарь оказались выложенными розовым, голубым и белым фарфором, между плитками которого вились змейки позолоты. Суть замысла, вероятно, заключалась в том, чтобы перешеголять и облагородить привычные русские изразцы, но этот новодел смотрелся настолько странно и чужеродно, что Валентина не могла отделаться от чувства, будто находится в кукольном домике, и ощущала себя андерсовской пастушкой, стоящей на каминной полке. Не хватало лишь трубочиста, на которого нужно было бы смотреть неподвижно-томным, антрацитно-черным блестящим взглядом, отведя правую руку с посошком в сторону, а левую приложив к круглой и твердой розовой груди, украшенной золотыми рюшами. Бьющая по глазам навязчивая нежность орнамента абсолютно не давала сосредоточиться на иконах, казавшихся на фоне этой глазурной отполированности унылыми темными квадратиками, из которых на людей угрюмо и неприветливо выглядывали желтовато-серые лики святых. Первые пять минут Валентина добросовестно прислушивалась, не раздастся ли в душе тихий звон струны духовного начала, но инструмент веры молчал, намертво заглушенный и задавленный оркестром смелых архитектурных бросков и изысков. Тогда она оставила свои тщетные попытки и, заглушив чувство досады на неуместные новаторства художников, – «Заставь дурака Богу молиться... Да ладно, может им просто на восстановление храма какой-нибудь заворовавшийся директор пожертвовал по вагону украденных каолина, кварца и шпата, так что пришлось срочно искать дарам применение?» – стала разглядывать церковь взглядом посторонней незаинтересованной посетительницы, объединившись с мусульманской Сальмой, которая с туристической резвостью крутила влево и вправо крупным семитским носом. Кроме них пятерых внутри никого не было, – видимо, монастырь наполнялся только в праздничные дни. Не пахло даже воском, поскольку редкие свечи не могли заполнить огромное пустое пространство. Воцарилась белая тишина без запахов и звуков.

Через десять минут, окончательно соскучившись в фарфоровом нутре, Валентина от нечего делать стала сравнивать нос профессорши с носами ее чуть менее ученых коллегинь, – картошка, огурец, виноградинка. Обладательница последней, Светлана Борисовна, главный организатор конференции и помимо этого вообще замдекана факультета английского языка, нетерпеливо сморщила свой нежный маленький носик и, наклонившись к Римме Васильевне, довольно отчетливо произнесла, что ведь проректор лично звонил в монастырь и просил встретить заграничных гостей, как полагается. Римма Васильевна шумно вздохнула своей картош-

кой и посмотрела на молодую начальницу умудренным жизненным опытом взором: везде, мол, одно и то же, никогда ничего вовремя не делается, я из своей группы четверых на пересдачу отправила, представляете?.. «А может, он молится? – высказала предположение Валентина. – Может, его одолели беси, и он их изгоняет, – это же, наверняка, небыстрое дело, особенно, если бесей несколько сразу...» Преподавательницы опять переглянулись, словно решая, надо ли смеяться, поскольку не могла же Валентина брякнуть такую глупость всерьез; Светлана Борисовна даже на всякий случай изобразила полуулыбку левой стороной рта, показывая Валентине, что, как современная эмансипированная женщина, реагирует на ее шутку, но поддержать ее сейчас никак не может. Широко заулыбалась только ничего не понявшая Сальма, не связанная профессиональной этикетностью. На этом неловком моменте, легок на помине, и появился Адраазар.

Валентина принялась разглядывать его с живым любопытством, поскольку была далека от церковного круга и на улице не смогла бы отличить монаха от других батюшек, не отказавшихся кардинально от мирских радостей. Впрочем, Адраазар был одет, как и все обычные православные служители рядовых чинов, в стандартную, ничем не примечательную рясу. Тем не менее, выглядел он, как и подобает выглядеть монаху, – был высок, худ и слегка сутул. Длинные гладкие волосы его были собраны в хвост, а борода курчавилась и торчала во все стороны живым беспорядочным веником, в котором уже были заметны отдельные ранние седые волосы. Он быстро подошел к ожидающим и также быстро, словно с разбегу, начал говорить, смотря куда-то поверх голов сидящих на скамейке дам. Видно было, что к таким экскурсиям он уже привык и они не вызывают в нем ни смущения, ни волнения. Говорил он легко, плавно, связно, строя речь полновесными литературными оборотами со сложноподчиненными предложениями, причастными и деепричастными оборотами, как будто не говорил, а писал. В общем, монах был грамотный, хорошо владевший ораторским искусством и образованный, по всей видимости, не в семинарии, а имевший за плечами и хранивший в шкафчике или тумбочке диплом философского факультета. Сергей Николаевич, молодой старший научный сотрудник, которому еще не исполнилось тридцати лет, в силу чего взрослые преподавательницы обращались к нему по имени, тихонько переводил основные тезисы Адраазарова повествования Сальме, поглядывая на монаха усмешливо и затаенно-недобро, тем взглядом, каким один краснобай глядит на другого краснобая; Сальма, все так же многокультурно и полицентрично улыбаясь, покорно кивала головой, показывая, что следит за сюжетом. Повествование, впрочем, было лишено строгой научной последовательности, – Адраазар словно не рассказывал, а размышлял вслух, плавно перелетая с одного предмета на другой. Начал он, однако, с традиционной для русского человека темы: с жалоб на скорбную долю и горький удел, – правда, не свою персонально, а монастыря, претерпевшего неисчислимое количество бед и лишений за годы советской власти. После революции монахов постепенно разогнали: тех, кому повезло больше, по другим приходам, тех, кого Господь возлюбил и решил испытать на прочность, – в места разной степени отдаленности и холодов; праведники же и вовсе отправились сразу в рай. В тридцатые годы территорию монастыря задействовали под колхозный скотный двор, и в храме какое-то время гулками голосами, требуя сена, печально мычали тощие коровенки. После войны колхоз постепенно оперился и с божьей помощью отстроил буренкам собственные хоромы, а в центральном храме обустроили клуб, где отчетные годовые собрания перемежались лекциями о коварстве империализма и тяжелой жизни рабочего класса в странах Запада, редкими выступлениями юрюзанского областного ансамбля русской песни «Калинушка» и более частыми посиделками сельской молодежи под гармошку, самогонку и рябиновую наливку, которой издавна славилось Ущупово. Но к перестройке половина молодежи разъехалась, а вторая половина уже предпочитала ездить на дискотеки в Юрюзань, лекции прекратились, поскольку лекторы, не получая зарплат, переключились на челночную торговлю, а

унылые, проводившиеся раз в году собрания никак не могли облегчить агонию умирающего социалистического духа. К распаду империи храм совсем захирел, печально глядя на мир черными неосвещенными глазницами, в которых треть стекол была выбита пацаньем, развлекающимся стрельбой из рогаток по голубям, любившим спуститься и посидеть на облупившихся карнизах круглых окошек.

Адраазар замолчал, мастерски выдерживая мхатовскую паузу, подчеркивающую и акцентирующую драматизм застойных времен; взгляд его, и так не сконцентрированный на слушателях, и вовсе ушел в себя, словно нащупывая выход из потемок, но потом вдруг неожиданно вернулся, и из глаз, как будто распахнувшихся настезь, хлынул такой яркий и чистый поток голубого света, какого Валентина не видела ни у кого и никогда и не поверила бы, что такое возможно, посчитав это образным преувеличением.

– Но оказалось, что слово Божье живо в народе и никакие запреты и гонения не смогли его истребить и уничтожить! – воскликнул Адраазар радостно, любуясь на ему одному видимую крепость православной веры. – Лишь только монастырь был возвращен в лоно матери-церкви, тут же на помощь восстановления святых стен пришли местные жители, бескорыстно помогавшие строителям в их работах, – всего за год обитель была восстановлена, а на другой год расширилась почти в полтора раза. Были возвращены иконы и множество вещей, которые бабушки и дедушки нынешних селян спрятали во время разграбления и бережно хранили долгое время. Пропала лишь самая главная святыня храма – икона Иоанна Богослова, написанная в XIII веке. Но и возвращенному радовались мы несказанно! Целых три иконы принесла нам местная героиня Валентина Учайкина: Божьей матери Троеручицы, Николая Угодника и Параскевы-мученицы. Говорю я «героиня» не только потому, что совершила она столь благое дело, но и потому, что Валентина Ивановна – личность поистине уникальная и легендарная. Почти шестьдесят лет назад, дав подписку о неразглашении военной тайны, она принимала участие в испытании новейших по тем временам летных систем и адаптации человека в экстремальных условиях, после курса подготовки начав тренироваться в прыжках с парашютом...

Услышав знакомую зарайскую фамилию, Валентина наострила уши: ее родная ЗАР – Зарайская автономная республика – граничила с юрюзанской областью и начиналась практически через неполных сто километров к юго-востоку от Ущупова. В Урузье, городе где прошло Валентино детство, был целый клан Учайкиных; к нему, кстати, принадлежал и Дима Учайкин, которого она смело могла поставить первым номером своего дон-жуанского списка, – ей было пять, а Диме шесть, когда они, сбегав с прогулки в детском саду, поцеловались за весенними кустами шиповника, решив стать женихом и невестой. Валентина тогда в кровь ободрала руки о шипы, и это были ее первые любовные раны, замазанные потом зеленкой. Так что героическая Валентина вполне могла приходиться Диме какой-нибудь двоюродной или троюродной тетушкой или бабушкой, – на юрюзанщине было много зарайских сел и деревень, а после революции зарайцы начали активно смешиваться с русским населением.

– ...постепенно увеличивая расстояние... – между тем продолжал свой рассказ Адраазар, взволнованно сверкая бирюзовым огнем очей. – Последний прыжок она совершила с высоты четырнадцать километров! Во время такого, небывалого по тем временам полета она не раз теряла сознание, но, несмотря на это, сумела приземлиться. Однако, этот прыжок оказался последним в ее биографии, – сердечная мышца не выдержала столь сильных перегрузок, и Валентина Ивановна начала страдать сильной аритмией.

– Что-что?.. – встрепенулся Спутник, до этого рассеянно плававший взглядом по вырезу Валентиной майки. – Со сколько?.. А на подводной лодке вместе с капитаном Немо она не ходила? А может, с Бондом против доктора Зло сражалась? Или против Бонда на стороне КГБ? Что ж ты, маленькая, – вроде бы умница, а такую лапшу у себя на ушах развешивать позволяешь...

– Ну, не знаю, – досадливо прикусила выпяченную нижнюю губу Валентина. – Мне, конечно, тоже показалось, что многовато. За что купила, за то и продаю, во всяком случае! Но с ее мужем еще невероятнее история случилась. Его звали тоже Валентином – Валентин Учайкин, они были какими-то дальними родственниками, в соседних деревнях росли, а потом оба уехали в Юрюзань и как-то попали в школу ДОСААФ, а дальше их двинули на эти испытания новейших летных систем. Только Валентин испытывал действие катапульты на дальние расстояния, – то есть его усаживали в эту катапульту и выстреливали им в определенную точку, а потом приезжали и забирали. И вот однажды он уехал на испытания и не вернулся. Сказал на прощанье, что уезжает на Новую Землю. И больше Валентина его не видела. А перед этим привез из Ущупова и забрал с собой икону Иоанна Богослова, – ту самую, тринадцатого века; оказывается, его бабка ее у себя на чердаке всю жизнь прятала. Показал Валентине лик Иоанна и говорит, – возьму, мол, в командировку, чтоб узнать, коли встретиться придется. И все, – месяц, два, три, полгода... А потом ее вызвали и сказали, – не жди, не ищи и не расспрашивай никого, можешь выходить замуж, паспорт переоформим. Только она замуж больше не пошла, вернулась в Ущупово, к свекрови, и всю жизнь с ней вдвоем прожила. А через сорок лет, когда уже не осталось, наверное, ни одной советской тайны, к ней приехал военный, летчик, генерал-лейтенант, совсем старенький, с палочкой-то еле ходил. И рассказал, что Валентина, действительно, в тот раз катапультировали на Новую Землю. И катапультиация была произведена восьмого мая. А девятого все их отделение вдруг срочно привлекли к участию в параде на Красной Площади, – зачем-то они совершенно неожиданно там понадобились. И они решили, что заберут Валентина чуть позже, – у него на этот случай были четкие инструкции, палатка, термобелье, запас продовольствия и воды, он мог ждать группу трое суток. А потом, откуда ни возьмись начались грозы, которых не предсказывала ни одна метеостанция, и они никак не могли вылететь на Новую Землю. В общем, они туда добрались только одиннадцатого числа. И никого не нашли, в обозначенном квадрате никого и ничего не оказалось, – ни Валентина, ни обломков спасательного челнока, ни палатки, ни ложки, ни ножа! Даже следов приземления не было, хотя они нашли радар, пускавший сигналы, – его прикрепляли к груди испытателя. Тогда они запросили разрешение на спасательную экспедицию и за неделю обшарили всю Новую Землю, но все равно никого и ничего не нашли. Ни единого следа больше! Его там просто не было, ты понимаешь?..

– Понимаю, – утвердительно закивал головой Спутник, разглядывая последние капли коньяка на дне бокала. – Я, ты знаешь, иногда очень отчетливо понимаю Маркса, сказавшего, что религия – это опиум. Я, конечно, тут сам недели две назад напился, как сволочь, с одним батюшкой из Кольчево, но все ж таки, до таких сказок он не договаривался, все больше Маяковского читал, – врага, говорит, надо знать в лицо. Крепкий такой поп, пробивной, – точно в архиепископы выйдет.

– Маяковского?.. – сбившись, неуверенно переспросила Валентина. – А зачем ты с ним встречался? Представляешь, этот тоже читал стихи...

– По делу встречался, с недвижимостью вопрос решали, – неохотно процедил Спутник. – Какие стихи?

К поэзии Адразар перетек так же неощутимо, как начал свое повествование про супругов-испытателей Учайкиных, – или же Валентина отвлеклась, заглядевшись на переливы света в его глазах, напомнившие ей игру балтийских волн, на которые она смотрела ежедневно в течение последних пятнадцати лет. В пасмурную погоду море наливалось расплавленным текучим свинцом, тяжелым и густым, будто замыкаясь и отодвигая от себя все посторонние желания, надежды и чаяния, а в более редкие солнечные дни внезапно словно распаивалось настееж, открывая в глубоком, пронзительно-синем сиянии людям всю свою неожиданно-ласковую красоту; точно также и лицо монаха, когда он говорил о событиях не слишком веселых, – а таких в жизни всегда почему-то случается больше, – казалось, уходило вглубь себя, прикры-

вая взор створками смирения, но потом дул ветер, облака разбегались, и на небе становилось видно солнце, освещавшее незамутненную непогодой детскую наивную чистоту этого русского мужицкого скуластого лица, с каким, верно, ходил вокруг своей последней церкви с топором за поясом и сапогами на плечах плотник Степан Пробка.

Первые пятнадцать минут Валентина восхищалась монахом совершенно бескорыстно и искренне, точно так же, как любовалась Балтикой, однако на шестнадцатой минуте к восхищению постепенно начало примешиваться какое-то смутное недовольство. На семнадцатой же минуте, прислушавшись к себе, она осознала, чем недовольна. Она была все явственнее и явственнее недовольна тем, что слушает Адраазара с полной, стопроцентной отдачей, тогда как он, в свою очередь, до сих пор ни разу не посмотрел ей в глаза, а ведь должен был, давно должен был посмотреть и восхититься сам, увидев ее восхищение и откликнувшись на него. В конце концов, все мужчины, на которых она обращала внимание, начинали проникаться этим вниманием и переводили свои глаза на нее, оставляя других женщин, поддаваясь этому веселому, натуральному, доброму взгляду, представляя эти босые, без чулок, ноги, – все без исключения, она могла дать руку на отсечение, уж она-то знала свою силу и власть! Почему ж этот не смотрит, не видит, не отзывается?.. Дурында, он же монах, – едва слышно прошептал ей Ангел из-за правого плеча. Сказано же, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с нею в сердце своем. Это ты открываешь Евангелие пару раз в год, а он каждый день на ночь читает: вырви правый глаз свой и отсеки правую руку свою, если они соблазняют тебя, отсеки и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну. Он-то молодец и войдет в рай смело и гордо, а вот ты за свои пылкие страсти и неразборчивую невоздержанность отправишься прямиком пить адскую смолу! – Какая еще смола, что ты слушаешь эти бредни? – захихикал за левым плечом бес. – Давай, девочка моя, не робей, посмотри на него, как ты умеешь: опусти ресницы и взмахни ими, словно бабочка нежными тонкими крыльями, улыбнись ему той самой, заветной, чуть приоткрытой влажной улыбкой, чтобы во рту мягким жемчужным светом блеснул ровный ряд зубов, скрывающих горячий язык... Такого человека можно полюбить, эти глаза и это простое, благородное и – как он ни бормочи молитвы – и страстное лицо! Вас ведь, женщин, не обманешь: еще когда он придвинул лицо к стеклу, смотря из окна кельи во двор, по которому вы бродили, и увидел тебя, и понял, и узнал. В глазах блеснуло и припечаталось. Он полюбил, пожелал меня. Да, пожелал...

Спекулируя на знании классической литературы, бесы кривлялись, корчили рожи и бубнили хором, жадно столпившись за левым Валентиным плечом и нагло выталкивая прочь грустного Ангела, из крыльев которого вылетали мягкие белые перышки, сиротливо кружившиеся по летнему сквозняку, гулявшему в храме. Бесы проворнее ангелов, проворнее, как ни жаль, – крутятся вечно возле, дергают за руки, за уста, за мысли, как за ниточки. Поддавшись их напору, Валентина, совершенно отвлекшаяся от речей монаха, сосредоточила во взгляде всю свою призывную силу и направила ее, как комплект ракет из установки «Град», в сторону Адраазара, стоявшего практически рядом, – чуть подавшись вперед, она могла бы коснуться пальцами его плеча. Он тут же повернул к ней голову и посмотрел в глаза прямым спокойным взором.

– Пушкин, – сказал он ей, – бесспорно, был великим поэтом. Но среди его современников имелись и другие, не менее талантливые люди, писавшие порой более глубокие стихи, которых люди сейчас просто не знают. Хочу прочесть вам одно их таких творений.

Валентина опешила. Бесы тоже совершенно растерялись, поскольку кто-кто, а Пушкин в сцену абсолютно не вписывался. По сценарию монаху следовало бы поднять на нее глаза, светившиеся тихим радостным светом, и сказать, прижимая левую руку к подолу рясы: «Милая сестра, за что ты хотела погубить свою бессмертную душу? Соблазны должны войти в мир, но горе тому, через кого соблазн входит... Молись, чтобы бог простил нас». Однако, Адраазар,

ничуть не смущаясь несовпадениями сюжетных линий, выпростал вперед длинную, худую и неповрежденную десницу и, так же неотрывно глядя на Валентину, начал декламировать, по-прежнему безыскусно и в то же время проникновенно, как и говорил ранее:

Как хорошо быть одному
В своей судьбе, в своем доме,
Довольствоваться малым,
Питаться снегом талым.

Как хорошо на полчаса
Лечь на кровать, закрыть глаза,
Уйти в себя, как в море
Или кино немое...

«Какое кино?.. – изумилась Валентина, оглядываясь в поисках поддержки на Римму Васильевну и Светлану Борисовну, слушавших Адраазара с благостно-лирическими улыбками, а также Сережу Николаевича, морщившего лоб, путаясь в тонкостях перевода. – Какое кино?! Первый фильм Люмьеры сняли через шестьдесят лет после смерти Пушкина, он даже сфотографироваться-то не успел!..» Но ни ее коллеги, ни уж тем более сам чтец не обратили никакого внимания на столь вопиющий исторический ляп, поглощенные ритмом размера, успокаивающе постукивавшего, словно поезд по накатанным рельсам. Адраазар читал плавно и вдохновенно, перетекая от строчки к строчке, от строфы к строфе:

Как хорошо спешить на зов
Высоких птичьих голосов,
С утра поющих в небе
Легко, как на молебне.

Как хорошо в конце концов
Стать оболочкою для слов,
Исполниться молитвой
В одно с дыханьем слитой...

Ракеты «Град» рассыпались, как коробок со спичками, ударившийся о невидимую непробиваемую преграду. Установка басовито крякнула и задымилась, словно печка, в которую насовали слишком много сырых дров. Бесы разочарованно сморщили маленькие, и без того сплюснутые поросячьи носы-пяточки и, повернувшись, всем стадом поплелись прочь, тонко постукивая копытцами и брезгливо помахивая длинными черными хвостами с лохматыми кисточками на концах. Из-за позолоченного косяка главного входа ехидно и торжественно улыбнулся отмищенный Ангел, победоносным стягом гордо расправивший свои крыла. Валентина почувствовала себя Наполеоном, ошеломленно вступившим в пустой и тихий Кремль, – все произошло совершенно не так, как представлялось в мечтах, грезах и прочитанных романах. «*Mais de quoi est-ce qu'il s'agissait?*»² – недоумевающе спросила императора Жозефина, взволнованно обмахиваясь пышным веером из белых страусиных перьев. «*Mais vous ne me compreniez pas, ma chérie?*»³ – грустно ответил тот. – *Cela a été son propre poème. Poème*

² Но в чем же было дело (фр.).

³ Вы разве не поняли, моя дорогая (фр.).

d'Adraazar».⁴ Она недоуменно вздернула голыми, полными, присыпанными рисовой пудрой плечами: «Et alors?..»⁵

Спутник тоже не понял ее разочарования.

– Ну и что? – знаком подзывая официанта, спросил он. – Повторите, пожалуйста. Подумаешь, не удержался, стишок прочитал. Кому ж ему еще было прочесть как не вам, университетским интеллигентам? У него там в монастыре сплошные посты, послушания, обеты и молитвы, Интернет по расписанию два часа в неделю и никакого читательского отклика. Понятное дело, не удержался парень, потешил самолюбие, тем более анонимно, под пушкинским прикрытием. Ну и что?..

– И ничего, – раздраженно подхватила Валентина, обижаясь на его недогадливость. – Вот именно что ничего! Сразу никаких бесов, – как бабка отшептала, все в один миг выветрились, словно ветром сдуло.

– Это почему же? – вскинул он брови.

– Да потому что поэты, а особенно русские, – наклоняясь к нему, холодно и презрительно отчеканила Валентина, ощущая внезапно нарастающую, усиленную коньяком упрямую и резкую враждебность, – самые распоследние сукины сыны во всем мире, а уж я повидала на своем пути немало сукиных и рассукиных сынов, поверь мне, русских и иностранных! Связываться с поэтом, – это как подцепить мандавошек.

– То есть, я, стало быть, – лобковая вша на твоём прекрасном теле, так? – медленно бледнея, отклонился назад Спутник.

– Так ты-то не поэт. Ты в глубине души – чистой воды торгаш, и если б ты был посмелее, то бросил бы всю эту словесность нахер, как Рембо, а тебе просто смелости не хватает!..

Мирная беседа совершенно неожиданно зашла в тупик жесткой яростной ссоры, в конце которой Спутнику надлежало бы по чести встать и уйти, кинув на стол пару тысячных бумажек, – желваки на его скулах так и заходили от оскорблений, которые Валентина бросала ему в лицо, как плевки. Ну и зачем ты его доводишь? – А хочется... Раз – да под дых, так, чтоб дышалку перехватило, а второй раз, – да локтем по позвонкам, а третий раз да под ребра сапогом с коваными набойками, ты же мне их сам подремонтировал, разве не помнишь? Не умеешь любить – сиди дружи, милый. И уступишь сейчас здесь ты, а не я; тут я – центр-форвард, и я кидаю шайбу по твоим воротам. Три – ноль.

Она уже неоднократно провоцировала его такими выходками, и он каждый раз отклонял ее нападения, не желая идти в лобовую; на лобовых атаках Спутник был слаб, предпочитая сворачивать, обходить и ударять с тыла, – на этом умении, впрочем, он и делал свои деньги, просаживая их потом по кабакам. Вот и сейчас он вздохнул, пригладил волосы, поднял голову и посмотрел ей в глаза с ясной усмешкой, накрывая ее руку своей ладонью:

– Ну что ты опять развоевалась? Что случилось, скажи мне.

Ах, если б она могла сказать! Такое вслух не говорится, не надо притворяться бестолковым бараном. Не со Спутником же Валентина вела эти стычки, она вела их с самим Господом Богом, ропща против несправедливости расставленных на пути ее любви рогаток и засад. К Нему молча взывала она: *Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! – laissez-le-moi encore un peu mon amougeux!*⁶ Оставь мне его, мон Дьё, оставь мне его, – на день, на два дня, на три дня. Оставь мне его на мгновение столь краткое в сравнении с теми годами, что мы проживем порознь. Дай мне зацеловать его, – сладко и горько, допьяну и досмерти, дай заласкать его во всех местах так, чтобы кончилось семя его из чресел его в лоне моем и на устах моих, чтобы воспарил он над ложем нашим, пустой и легкий, как космонавт в невесомости, чтобы три месяца после

⁴ Это же было его собственное стихотворение. Стихотворение Адраазара (фр.).

⁵ Ну и что (фр.).

⁶ Мой Бог, мой Бог, мой Бог! – оставь мне его ненадолго, моего любовника (фр.).

не хотел никого более, кроме меня, и ходил бы по московской земле, шальной и блаженный, напевая дурацкие песенки: Какая женщина жила у Винского вокзала! – она и пела, и пила, и на метле летала... Дай мне, дай мне пресытиться им, чтобы отпустила я его со спокойной душой и чистой совестью к жене и сыну малому, тестю и теще, друзьям и врагам, прибыльному бизнесу и убыточной поэзии, а сама оглянулась бы по сторонам в поисках других возлюбленных, других жеребцов, – вон их сколько здесь дышит, тяжело и горячо, топчась поодаль в ожидании своей очереди. Ибо ты сам, мон Дьё, сам, своими руками невесть зачем сотворил меня такой, – неверной, легкомысленной и блестяще-переменчивой, словно пена морская...

– Это возраст тебя поджимает, маленькая, – заходя с тыла, как она и ожидала, глубоко-мысленно поправил очки Спутник. – Нормальное женское взросление, – сначала у вас принцы, потом придурки, а потом все мужики – козлы.

Валентина расхохоталась так громко и раскатисто, что сидевшие неподалеку кавказцы разом обернулись и посмотрели на Спутника с явной завистью. Что-что, а смешить ее он умел, за это она его очень ценила.

– Ну, уж ты-то точно от козла недалеко ушел, – утирая выступившие на глазах от смеха слезы, проговорила она, разом простив ему все невысказанные обиды. – На том же лужку пасешься. Молодец, хорошо реагируешь, – три-один. Давай, твое здоровье! Тем более, что и стих-то был, в самом деле, неординарный. Пушкин за отсутствием времени эту тему, действительно, обдумать не успел:

И не бояться, что умрешь,
Что смерть небытие, то – ложь,
Не пропадешь бесследно –
Шагнешь из тела – в небо...⁷

Они дружно чокнулись и выпили, ощущая облегчительную сладость примирения и с новой силой нахлынувшего на обоих желания. Валентина прикрыла рот ладошкой, пряча улыбку.

– Все, хватит, – решительно сказал Спутник, тоже начиная улыбаться, – вставай, пошли отсюда, здесь контингент неподходящий. Я чувствую, тебя тут начнут клеить, как только я отлучусь в туалет. Бери сумку, по дороге доскажешь, что там еще произошло, в этом волшебном монастыре...

– Но монастырь действительно необычный, – зачастила Валентина, поднимаясь и по привычке, выработанной в студенческие годы, начиная активно жестикулировать. – О нем и в летописях упоминается. Его даже Батый не разорил, когда шел на Юрюзань. Подошел к самым стенам, только через Оку надо было переправиться. Назначил переправу на утро, чтобы на свежую голову монахов распотрошить. А ночью увидел сон. И поутру приказал обойти монастырь стороной...

– Не маши руками, милая, – рассматривая счет и вынимая из внутреннего кармана пиджака толстый, перекрученный сверток разномастных купюр, привычно посоветовал ей Спутник. – Летописей не так уж и мало, твой сказочник не уточнил, в которой из них об этом чудесном избавлении написано? И что там во сне было, он случайно не в курсе?..

– Ну, кто ж его знает, что там было, во сне? – подходя к нему вплотную и кладя руки на плечи, ответила Валентина, ощущая в душе огромный прилив нежности и любви и радуясь тому, что эти чувства живы, что ее любовь дышит, поет, приплясывает и ведет ее за собой вслед своему прихотливому танцу. – Только сам Батый, только он. Давай все-таки поцелуемся...

* * *

Батый проснулся, словно бы от толчка, совершенно внезапно. Будильный петух еще не кричал, значит, не было даже трех часов. Хан иногда просыпался так, с ощущением, что где-то вблизи ходят разведывательные отряды неприятеля, но сейчас такого чувства точно не было, – юрюзанский коназ уже давно был извещен о приближении ордынских войск, а отправлять отряды внезапного нападения было бессмысленно, поскольку силы были слишком неравны. Завтрашний бой вообще был бессмысленным, но коназу в его упрямую урусутскую башку втемяшилось умереть героем и оставить после себя в мире добрую славу. Ну, что же, – все желания в этой жизни рано или поздно сбываются, тем более стремления, достойные воина и правителя. Сговориться с соседними коназами Юрий вряд ли успел, поскольку его посла отрубили головы еще в той деревушке на Воронеже. Так что в этот момент он, скорее всего, ходил по своей горнице взад-вперед, словно барс, запертый в клетке, – на шкуре одного из таких барсов Батый сейчас лежал, прислушиваясь к тихим шагам и приглушенным пересвистам караульных за пологом юрты. Все шло, как надо, – завтра к вечеру они подойдут к стенам защищающей Юрюзань коломенской крепости, около которой будет стоять скудная и бледная урусутская рать, лучники выпустят поток стрел, а потом польется конница, с визгами и подвыванием вопя «Хуррагх!» Об исходе боя можно было даже не думать, пожалуй, он передаст в этот раз командование Менгу-хану, а своей славе оставит более крепкий орех – Машфу. Юрюзанцы меж тем запрутся в детинце⁸ и, стеная и проклиная поганых и окаянных, продержатся там дней пять, может шесть, – не больше недели. Итак, завтра, нет, уже сегодня, часов через шесть. Нет, завтра, сегодня не получится, на очереди же еще эта шаманская деревянная крепостишка, монастырь. Ну, с ней застоявшееся войско разделается быстро, больше времени уйдет на переправу, кони будут скользить по льду, кроме того, его сначала надо прощупать, чтобы не нарваться на запорошенную полынью или тонкую наледь, которая не выдержит тяжести пороков⁹. Значит, завтра монастырь. Слово *монастырь* вдруг отозвалось неожиданным уколом под левую лопатку, словно укусом блохи. Это же его он видел во сне, от которого, собственно, и проснулся. Батый плотно закрыл веки и в одну секунду вспомнил весь этот странный сон до последней картинки.

Во сне он увидел самого себя, сидящего на любимом, молодом, белом в яблоках арабском жеребце Аннычаре посередине русла затянутой льдом и заметенной снегом Оки. Вокруг никого не было, он находился совершенно один, чего с ним не случалось, наверное, ни разу в жизни, – даже когда он высылал всех из юрты, за пологом всегда присутствовали десятки людей, в обязанность которых входило следить за каждым движением сначала юного тайджи¹⁰, потом хана, а затем великого джихангира¹¹ и кидаться исполнять его любое желание, высказанное даже шепотом. Именно сознание полного одиночества наполнило сон смутной тревогой, с которой Батый до боли в глазах вглядывался в белую пустоту реки и обрамлявшие ее холмистые снежные берега. Левый, пологий, был пуст, а на верху правого, более крутого, стоял тот самый монастырь, – деревянная молельня с узкой башенкой колокольни и три низкие избы, окруженные забором из плотно составленных заостренных кольев, на каждом из которых была надета круглая снеговая шапочка. По замыслу лучники должны были забросать молельню горящими стрелами, а стенобитное орудие открыть хлипкие ворота со второго удара. Ветер раздувал гриву коня, вокруг которой струились снежные змейки, поднимаемые снизу и сметаемые с боков, смешивавшиеся с мелкими колючими снежинками, сыпавшимися сверху, с туманно-

⁸ Укрепленная часть внутри города, Кремль.

⁹ Стенобитных машин.

¹⁰ Царевича (монг.).

¹¹ Покоритель вселенной; титул главнокомандующего (арабск.).

серого неба. Батый осматривал окрестности, не понимая, что ему делать и куда идти, и ощущая растерянность от того, что решения, которые он всегда принимал быстро и уверенно, в этот раз отсутствовали. Аннычар, вероятно, почувствовавший смятение хозяина, также заволновался и принялся переступать с ноги на ногу, все быстрее и быстрее, а затем забил копытом и, взвизывая на дыбы, громко и отчаянно заржал. Натянув поводья до упора, чувствуя, как узда впивается в конские губы, Батый все-таки смирил жеребца. Вокруг все оставалось так же тихо и холодно. Неожиданно по белой тишине откуда-то сверху медленно поплыл густой, насыщенный звук, – думмм!.. Вздвогнув от неожиданности, Батый понял, что это был удар колокола, доносившийся из урусутского шаманского дома, – думмм... думмм... думмм... Затем на тяжелый бас главного колокола начали нанизываться более тонкие кольца и совсем тоненькие колечки колоколов поменьше и полегче, – дум-думмм... дум-думмм... дум-дум-думмм!.. Перезвон постепенно наполнил белое русло реки, коня и его самого, заставляя раскачиваться в такт ударам. Аннычар, вытянув вперед морду и прижав дымчатые уши, ловил каждый новый удар всем трепещущим телом. На одной особенно рассыпчатой связке мелких колец далеко впереди, на повороте речного русла, сливающегося с горизонтом, показалась черная точка, и Батый впился в нее взглядом, стараясь разгадать, что же это такое. Зверь? Человечек? А, может, злой дух Иблис?.. – впрочем, духи двигаются быстро, не заставляя своих жертв томиться в ожидании беды: прыгают сзади черной кошкой Карапшик и вонзаются острыми и длинными, как наточенные ножи, когтями в горло, раздирая его в кровь. Больше всего хана мучило то, что он не мог сам устремиться существу навстречу, – неизвестно почему, но Батый твердо знал, что ему нужно оставаться на месте, словно выполняя чей-то приказ, и это тоже было странно, потому что последние десять лет джихангир не слушал команды, а раздавал их. Точка медленно, медленно приближалась, росла, увеличивалась в размерах, и наконец Батый смог разглядеть, что это был старик в длинной, ниже колен, холщовой светлой рубахе, полы которой трепал и раздувал ветер. По виду он был похож на урусутского дервиша, из тех, что, как объяснили ему, ходят от одного шаманского дома к другому, чтобы поклониться деревянным доскам с изображениями богов и святых, творивших чудеса. Голова старика была непокрыта, на ногах тоже ничего не было, он шел босиком по снегу легко и плавно, не проваливаясь в сугробы, а словно скользя по ним, а ведь рассыпчатый декабрьский снег не держал ни волков, ни лис, ни даже кошек!

Высокие колокольца смолкли, но большой колокол, остановить который было не так просто, продолжал раскачиваться, отсчитывая медленно снижающие громкость и силу удары. С тринадцатым старик оказался рядом с ханом и остался стоять, опустив голову перед всадником. «Кто ты?» – спросил его Батый и собственный голос показался ему тихим и слабым в еще наполненном гудением пространстве. Старик не двигался, лишь длинные седые курчавые волосы шевелились под ветром. «Кто ты?» – повторил хан по-татарски, снова не получив никакого ответа. Наконец он вспомнил и затвердевшими, непослушными от холода губами в третий раз спросил по-urusутски: «Като ты?..» Старик поднял голову, и Батый увидел, что лицо дервиша, словно белая маска, было облеплено тонким узором снежинок, а глаза под густыми и лохматыми от снега бровями закрыты, как будто он крепко спал, – такие отрубленные головы врагов Батюю часто приносили в дар ордынские темники¹² и джагуны¹³; на них не было ни страха, ни ненависти, ни какой-либо другой человеческой страсти, лишь спокойное умиротворение смерти. Но ведь старик-то был жив, – Батый даже видел легкий пар дыхания, выходящий из его ноздрей! «Надо открыть ему глаза, – подумал он, – поднять веки!»

Он спрыгнул с коня и тут же увяз в мягком снегу почти по край сапог. Аннычар, потеряв хозяина, снова отчаянно заржал и бросился вперед, неистово размахивая хвостом и выбивая

¹² Начальники корпусов в десять тысяч человек.

¹³ Сотники (монг.).

из-под копыт струи снега, разлетающиеся вокруг ног коня россыпью маленьких белых водоворотов. Батый беззвучно ахнул и хотел уже броситься вслед за жеребцом, но тут старик положил ему руку на плечо и медленно открыл глаза, запорошенные снегом. «Идем», – сказал он едва слышно, одними губами, и, взяв хана за запястье, повел его по нехоженному снегу к правому берегу реки. Они начали взбираться по крутому откосу, – Батый скользил, оступался и тыкался свободной левой рукой в сугробы, стараясь найти под ними хоть какую-то опору, но пальцы раз за разом сжимали лишь мягкие отрезки снега, за которые нельзя было удержаться. Старик же поднимался легко и спокойно, сильной уверенной рукой подтягивая за собой хана. «Пороки здесь не поднимешь, – успел подумать Батый, окончательно запыхавшись, чувствуя в висках удары все сильнее колотящегося сердца, – придется искать другой путь». Наконец неровный подъем кончился. Они стояли наверху, но почему-то не на правом, а на левом берегу, – монастырь опять находился прямо напротив, и между ними снова лежала Ока. «Как же так?» – изумленно спросил Батый дервиша. Ничего не отвечая, тот поднял голову и, прищурясь, стал смотреть наверх. Повторяя его движение, великий джихангир тоже вскинул глаза и увидел над собой ослепительно синее, бездонное летнее небо, на котором не было ни одного облачка, предвещавшее нежно-теплый день, который к полудню прогреется до легкой жары. Солнце находилось у него прямо за головой, на востоке, значит, они смотрели на запад. «Виждь, – сказал старик, легонько касаясь перстами его плеча. – Внемли. Сядут девы семо и овамо. Пойдут путы путать и полки пятить». Не понимая урусутской речи, Батый впился тревожным взглядом в гладкое, без единой морщинки и складки небесное полотно, расстилавшееся над ними... На этом моменте напряженного ожидания хан и проснулся.

«Надо позвать гадалку, – решил он. – А впрочем, вздор. Ничего дурного во сне не было, – никакого знака о поражении или смерти. А болезнь меня уже миновала. От болезней у меня теперь есть жена» – он скосил глаза и взглянул на Учайку, которая, спала глубоким сном, уткнув голову в его плечо, по-детски трогательно приоткрыв губы и чуть посапывая. Непривычное чувство мягкого умиления разлилось вдруг внутри груди Батыя сладкой тягучей волной. «Зря, конечно, я оставляю ее ночевать в своей юрте, – женщина должна жить отдельно. Надо отправить ее в обоз, к другим женам, – пусть учится носить нарядную одежду, говорить по-птичьи щебечущим голосом и ходить мелкими шажками, опустив очи ниц. Иначе по войску пойдут всякие глупые толки и ненужные пересуды. Да. Завтра же отошлю ее от себя». Приняв это решение, он тут же понял, что не выполнит его ни завтра, ни послезавтра, ни через неделю, ни через месяц, ни до конца похода, сколько бы он ни продлился. Не отошлет, о чем бы ни сплетничали нукеры и усмехались джагуны. Во-первых, пока она рядом, его жизнь в безопасности, а во-вторых... во-вторых, ему... он... ее... она... Ну да, – пока она рядом, жизнь великого джихангира в безопасности. Орда не должна потерять своего предводителя. Умереть, не дожив до тридцати лет, было бы крайне обидно, – а именно так почти и произошло месяц назад. Кипчаки, как бы они ни притворялись, всегда на деле оказывались подлыми тварями, – ублюдочный народ, появившийся на свет от сношений свиньи с шакалом!.. Смелости в них никогда не было, – лишь желание поживиться, урвав кусок от туши оленя, загнанного стаей волков.

Три кипчакских хана – отец и двое сыновей – приехали в ставку великого джихангира около месяца назад, – слух о том, что поход идет успешно, затмил их разум жадностью и желанием даровых богатств. Песни они пели те же, что и всегда, дескать, татары и кипчаки – братья по крови, а кто же поддержит друг друга в трудную минуту, как не брат брата? Батый, однако, не собирался держать отряды кипчаков в Орде на особых условиях, увеличивая им долю добычи: ему совершенно не нужны были недовольства со стороны туркмен, тангутов, белуджей или аланов, которые, кстати, в бою сражались куда отважней. Кроме того, хан не сомневался, что при малейшей неудаче братья тут же побегут втихаря сговариваться с урусутами, если уже не заключили с ними очередной нерушимый договор. В силу этого он любезно, приветливо

и непроницаемо-дружески выслушал цветистые речи об «одной крови одного рода», принял в дар двенадцать жирных черных курдючных баранов, двенадцать рыжих степных кобылиц и двенадцать кипчакских красавиц в остроконечных войлочных шапках: Зарина, Джамиля, Гюзель, Саида, Хафиза, Зухра, Лейла, Зульфия... Гюльчатая. Батый равнодушно осмотрел красавиц, задержавшись взглядом лишь на личике последней, Гюльчатой, почти девочке лет тринадцати-четырнадцати, искоса бросившей детские любопытные взгляды на грозного джихангира, и усмехнувшись, поблагодарил братьев за щедрые дары, обещая обдумать условия возможного союзничества. Их глупость его искренне позабавила: неужели они, подсовывая ему неопытное дитя, думали, что у него было мало наложниц, обученных высшим тонкостям в искусстве услаждения мужчин? А может, наоборот, решили, что он пресытился их опытностью и детская целомудренность его раззадорит? Да ничего они не думали, собрали в кучу этих усаых красавиц и пригнали к нему, как стадо ослиц. А девчонка, небось, уже спит и видит, как станет любимой женой джихангира. Тупые ишаки...

С удовольствием он выпил лишь кумыс, который набивавшиеся в братья ханы привезли в бурдюках из своих степей. А вот этого, как оказалось, делать совершенно не следовало, несмотря на то, что кумыс был свежий, прохладный и отменно вкусный, доставивший хану истинное наслаждение. Ночью он проснулся от резкой боли, скрутившей кишки. Лишь только Батый открыл рот, чтобы позвать Турукана, верного нукера¹⁴, ходившего за ним с самого детства, как из его рта стремительно потекла густая желтая рвота, залившая шею, грудь и шкуру барса, на которой он спал. Следом неудержимо полилось из нижнего отверстия, и юрта наполнилась густым смрадом, от которого хан опять начал блевать. Прибежавший на странные звуки нукер, обнаружил Ослепительного, корчившегося в луже собственной блевоты и испражнений. Перепуганный, он начал обтирать лицо Батыя голыми руками, так что через минуту они оба оказались выпачканными мерзостной вонючей массой, продолжавшей извергаться из нутра хана. Наконец Турукан сообразил кликнуть на помощь других нукеров и помчался за лекарями и шаманом. Когда они пришли, Батый лежал на середине юрты, дрожа всеми конечностями от нахлынувшего озноба. Целебный отвар не принес облегчения, – хана опять обильно вырвало. Шаман принялся окуривать больного дымом от веточки волшебного дерева тум-тум, приговаривая древние заклинания, изгоняющие злых мангусов, но мангусы сдаваться не желали, – через час Батый опять обпоносился, словно младенец, причем на этот раз в каловой жидкости были явственно заметны кровавые следы. Дознание, проведенное на следующий день, результатов не дало, – все три кипчака были совершенно здоровы и клялись геройской памятью общих предков, что их кумыс не мог принести Ослепительному никакого вреда. В отравлении их заподозрить было трудно, поскольку все пили напиток из одного кувшина, а от своей чашки Батый не отворачивался, так что времени подбросить отраву просто не было. Кроме того, выгоды от такого зла кипчаки вообще не имели. На всякий случай хан велел приставить к ним стражу и караулить до тех пор, пока ему не станет легче.

Но легче не становилось: рвота и понос продолжались, а жар то поднимался, то резко падал, совершенно обессиливая больного, организм которого через краткое время исторгал любые принятые им пищу и питье, а также разнообразные отвары, приготовленные дрожанием от страха лекарем. Шаман разводил руками и говорил, что Ослепительного, верно, сглазили, напустив на него тьму злобных мангусов, терзающих внутренности джихангира.

Через неделю мучений, двадцативосьмилетний, полный сил молодой мужчина превратился в скелета, обтянутого серой пересохшей кожей, по которой обильно расползлись язвы, источавшие грязно-белый гной, засыхавший и превращавшийся в струпья. Любое движение приносило ему мучительные страдания, от которых он начинал кричать так, что сорвал голос. Войска, не знавшие о болезни джихангира, топтались на месте, проводя время в джигитовке,

14

Нукеры – охранники хана, составлявшие его личную дружину.

костях и развлечениях с красотками из окрестных деревень. Начались стычки и потасовки из-за неподделанных женщин и выигрышей; произошло даже убийство. Убийце, разумеется, устроили показательную казнь, сломав ему спину, но пора было принимать какое-то решение, вот только никто не знал, какое. Джагуны не решались заводить разговор о судьбе похода, поскольку она была неразрывно связана с судьбой джихангира, а его судьба висела на волоске. Оставалось лишь ждать, уповая на милость высших сил.

На седьмой день, когда Батый, очищенный нукерами от утренних извержений, лежал навзничь, тупо и безмысленно глядя застывшим взглядом наверх, полог юрты откинулся, и Турукан подвел к постели хана незнакомого воина. Тот встал на колени и, непроизвольно скривившись, прижался лбом к запачканному полу.

– Ослепительный, – прошептал нукер, поднимая голову и с ужасом вглядываясь в то страшное существо, которое лежало на постели великого Джихангира, – мне донесли, что в зарайской деревне, рядом с которой стоит Орда, живет местная знахарка, весьма сильная и излечившая многих селян, детей, взрослых и старцев, от самых лютых хворей. Не мое дело давать тебе советы, но скорбь, как червь, гложет мое сердце, когда я вижу твои страдания...

Батый с трудом повернул к нему высохшее посеревшее лицо с запекшимися от сукровицы в коричневую корку, истончившимися до нитки губами.

– Привести... – прохрипел он, обдирая сухое горло словами. – Привести, иначе я здесь к завтрашнему утру сдохну, как шелудивый пес, в собственных нечистотах и блевотине, напрасно дожидаясь помощи от этих невежд... Послать стражу и привести сейчас же...

Утомившись от столь долгой речи, Батый медленно закрыл воспаленные, сочащиеся желтоватой слизью глаза, и опять впал в тяжелое забытие. Очнулся он от того, что кто-то медленно и мягко гладил его ладонью по лицу, – на удивление, прикосновения не приносили боли, от них растекалось тепло, проникая под щеки и губы внутрь, до самых шейных позвонков. Батый открыл глаза, обнаружив, что они не слеплены гноем и он в состоянии спокойно и незаметно для себя самого моргать, как все здоровые люди. Над ним склонилось молодое женское лицо, – довольно крупное, с невысоким лбом, вокруг которого вились светло-русые пряди волос и чуть раскосыми, но в то же время большими глазами насыщенно-голубого цвета, осматривавшими его внимательно и пытливо. Женщина еще раз провела рукой по голове хана, – от макушки к подбородку, потом сжала пальцы в кулак и, отведя локоть в сторону, резко раскрыла ладонь, словно выбрасывая что-то невидимое. Подсунув левую руку под шею хана, она уверенно приподняла его и поднесла к губам плошку с жидкостью, от которой шел густой дымящийся пар, пахнувший сочным, но незнакомым травяным запахом.

– Симть,¹⁵ – сказала она, кивая головой. – Симик, иля пеле, тон чождалгават.¹⁶

Батый глядел на нее, пытаясь разгадать, чьих племен была знахарка. Кожа ее была такая же белая, как и у урусутов, и волосы так же светлы, но скулы выписаны намного четче и упрямее, а нос более прям и строг. Потом он вспомнил, что нукер говорил о зарайцах. Значит, это та самая зарайская шаманка. Странно, она была непохожа на тех зарайцев, которых он видел на берегах Мокши, – их щуплый, пронырливый, как заяц, князек даже приходил к джихангиру на поклон, набиваясь к нему в сокольничие. Впрочем, он особо их не разглядывал: мелкий смиренный народец, – у мужчин из оружия одни топоры, да и те они не решаются пустить в дело, предпочитая отсиживаться в лесах.

– Симть, – повторила знахарка чистым высоким голосом. – Тонь порат эзь сак куломс, менель тештӱне ёвтнӱть ханонтень оштӱ комсь иеть вадря эрямо.¹⁷

¹⁵ Пей (зарайск.).

¹⁶ Выпей, не бойся, тебе станет легче (зарайск.).

¹⁷ Пей. Тебе рано умирать, звезды сулят хану еще двадцать лет счастливой жизни (зарайск.).

Он покорно начал глотать тягучую сладковатую жидкость, ощущая, как, смазывая гортань, она мягко проскальзывает в желудок. «Хуже уже не будет... – замелькали в голове мысли. – Разве не все равно теперь, – я и так на пороге, с ней или без нее. А что будет там и что такое было здесь? Отчего мне так жалко было расставаться с жизнью? Что-то было в этой жизни, чего я не понимал и не понимаю...»

Непривычное чувство теплого насыщения разлилось от желудка по всем членам, наполняя их приятной тяжестью, и хан почувствовал, что погружается в приятную розово-сиреневую дремоту, переходящую в крепкий сон, без кошмаров и боли.

Разбудили его опять те же теплые руки, ласково гладившие лицо.

– Сыргузть, – сказала знахарка, начиная разминать пальцами уши Батыя. – Тон удить кемгавтово част. Саты, мон карман тонь ормань изнямо.¹⁸ Турукан!

«Она уже знает, как кого зовут, шустрая зарайская лиса», – подумал Батый, не понимая, доволен он этим или нет, и тоже позвал: – Турукан! – голос был хоть и слабым, но полнозвучным, не сипел, не хрипел и не царапал связки. Хан внезапно осознал, что это была первая спокойная ночь, поведенная без рвоты и поноса.

Прибежавший на зов Турукан переводил восторженный взгляд с Ослепительного на знахарку, выказывая полную готовность исполнить любое повеление. Шаманка, не робея, взяла его за руку и принялась объяснять ему что-то на зарайском языке, слова которого перекатывались на ее губах, будто камушки под быстрой речной струей, выплескиваясь из потока звуками *ыть* и *сть*. Нукер покорно слушал и кивал коротко стриженной седой головой, пригибая шею, как ученик слушает учителя, которому невозможно перечить. Наконец она решительно взмахнула рукой, будто отдавая приказ идти в бой. Турукан подошел к хану и, не успев даже открыть рот, откинул верблюжье одеяло и начал снимать с него нательную рубаху тонкого китайского шелка. Полностью обнаженный, Батый лежал на шкурах, на полу юрты, а она возвышалась над ним, рассматривая его тело с прерывистой улыбкой, которая пробегала по ее губам легкой змейкой. Он почувствовал детский стыд за свою наготу, как будто ему снова было четырнадцать лет, и он опять входил в шатер к наложнице, дабы обрести мужественность. Рассердившись на самого себя, Батый решительно взглянул на шаманку, но она, не смущаясь, перешагнула через него и, подтянув подол платья, уселась прямо на его чресла, чуть пониже мужского достоинства, которое увядшим цветком грустно лежало на правой ноге. Знахарка вытянула левую руку и Турукан вложил в нее большую глубокую чашу, из которой она ладонью правой руки зачерпнула полную пригоршню густой желтоватой мази. Резкий, пощипывающий ноздри запах разошелся по юрте.

– Аштик састо,¹⁹ – строго сказала шаманка Батыю. – Кандт эсить сталмунть, кода-бу стака илязо ули.²⁰

Он кивнул головой, не поняв ни слова и сам удивляясь, зачем кивает. Знахарка поднесла пригоршню с мазью к губам и три раза на нее подула, а затем быстро зашептала свои зарайские заклинания. Прделав так три раза, она начала обеими руками втирать мазь в тело хана сильными поперечными движениями, постепенно спускаясь вниз: от левого плеча к правому, от левого соска к правому, от левой половины живота к правой... Когда мазь в ладони заканчивалась, она зачерпывала очередную пригоршню из чаши, которую, стоя рядом на коленях держал Турукан, глядевший на шаманку заворожено, словно суслик на песчаного удавчика. Первая чаша ушла на переднюю половину тела хана, вторая – на его тылы; усердная шаманка смазала все складки и отверстия, не забыв даже про промежутки между пальцами на ногах. Содержимое третьей чаши пошло на шею и голову, – даже длинные волосы хана были сма-

18 Просыпайся. Ты спал двенадцать часов. Довольно, я буду тебя лечить (зарайск.).

19 Лежи смиренно (зарайск.).

20 Неси свою ношу, как бы тяжело не было (зарайск.).

заны с помощью деревянного гребня. Закончив, шаманка вытянула руки к потолку юрты и три раза выкрикнула: «Вант! Кунсолук! Теик темень!»²¹ – «Теик темень!»²² – густым басом отозвался вдруг Турукан. Знахарка рассмеялась и легко, как годовалая кобылица, вскочила с Батыя. Они укрыли его сначала холщовой простыней, затем верблюжьим одеялом, а напоследок медвежьей шкурой. Тяжесть показалась хану такой внушительной, будто бы он лежал под стенобитным орудием.

Сперва по телу пробежал легкий холодок, растекшийся от туловища по всем членам; конечности похолодели настолько, что Батый не мог шевельнуть ни единым пальцем ни на руках, ни на ногах. Затем холод постепенно сменился теплом, а тепло – жаром, но не тем жаром болезни, который скрючивает все тело и от малейшего движения оборачивается жгучим ознобом холода, а посторонним жаром, накалявшим кожу и по жилам, прожилкам и сухожилиям, пробиравшимся до самых костей. Через десять минут Батыю начало казаться, что весь его скелет горит, словно охваченный пламенем куст, а волосы на голове потрескивают раскалившейся листвой. На Воронеже Батый остановился на ночлег в одном из урусутских молельных домов, и толстый бородатый урусутский шаман, потчюя великого джиханира сладким хмельным зельем, рассказывал, что зелье это приготовлено из ягод, поспевших на диком кустарнике каражимеш²³; как-то раз один такой куст загорелся и горел три, четыре, пять дней, неделю, и все люди приходили дивиться на эти чудеса, не понимая, почему же не может он выгореть до конца, до головешек, углей, золы и пепла? Потом отправился к кусту и Батый, сказав: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает? А как подошел он к кусту, то увидел, что куст этот есть он сам, разбросавший в разные стороны руки, ноги и волосы, и пылает он пламенем алым, и горит он огнем синим, но сгореть не может, будто сделан он не из древесной плоти, а из камня или из глины. И дивился Батый на те чудеса, смотря со стороны на себя самого. Затем вышел из пламени посланник Бога по имени Анагел, и встал по правую сторону от куста. А после того воззвал из среды куста и сам Бог: Батый, Батый! Он сказал: вот я, Господи! – и закрыл лице свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь: собирай войско свое и веди его на запад, веди, пока не дойдешь до северного и южного моря. Покорятся тебе все народы на пути твоём, ибо наступает день Господень, ибо он близок – день тьмы и мрака, день облачный и туманный; ты будешь облаком и туманом, ты повлечешь за собой тьму и мрак. Приведешь на земли западные народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века: зубы у него – зубы львиные, и челюсти у него, как у львицы; вид его, как вид коней, и скачут они, как всадники. При виде его затрепещут народы, у всех лица побледнеют. Будешь нападать на них, как лишенная детей медведица, и раздирать вместилище сердца их, и поедать их там, как львица, полевые звери будут терзать их. От меча падут они; младенцы их будут разбиты, и беременные их будут рассечены; раскаяния в том не будет у меня.

– Но ты же не мой Бог, – ответил Богу Батый. – Ты Бог тех народов, которых хочешь поразить и низвергнуть. Почему возвышаешь ты меня, а их унижаешь, если они молятся тебе и к тебе взывают в опасности, а ты не хочешь их защитить? Не могу я найти в этом ни смысла, ни справедливости. Не проще ли им тогда перестать верить в тебя?

– Если бы кто-то меня спросил, – усмехнулся вдруг стоящий по правую сторону от среды куста пухлогубый Анагел, потрянув белокурыми длинными кудрями, – как я чую присутствие высших сил? Дрожь в руках? Мурашки по шее? Слабость рук, подгибанье ног? Я бы ответил: если страшнее, чем можно придумать – то это Бог. Кто мудр, чтобы разуместь это? – продолжил он, так же странно усмехаясь. – Кто разумен, чтобы познать это? Не ты мудр, Батый, и не ты разумен, чтобы судить о делах, тебе неподвластных: не рука ты, а лишь праща в деснице

21 Виждь! Внемли! Сотвори! (зарайск.)

22 Сотвори! (зарайск.)

23 Слива, терновник (тат.).

Божией, летящая через холмы и реки и разящая праведников вместе с нечестивцами, производя смятение в умах их и разделяя сердца их. Будут они развеяны, как утренний туман, как роса, скоро исчезающая, как мякина, свеваемая с гумна, и как дым от куста огненного!..

На этих словах жар пекла достиг своего предела, ствол Батыя содрогнулся, листья на его ветках затрепетали в пламенном напряжении, а плоды среди листвы лопнули и сильными частыми толчками потекли на землю обильным густым семенем, как это случалось в отроческих снах. Он открыл глаза, ожидая увидеть лицо шаманки, но увидел физиономию Турукана, ослабившегося от умиления.

– Ты проснулся, Слепительный, – пробормотал нукер, глядя на джиганхира со слезами на глазах, выступившими от тщательно скрываемой отеческой любви и тревоги. – Ты выздоравливаешь. Скоро силы к тебе вернуться, и ты вновь станешь прежним могучим батыром и великим правителем.

– Сколько я спал? – спросил Батый, выпрастывая правую руку из-под одеял и накидок. – Я голоден, принеси мне еды.

– Почти сутки, Слепительный, – прошептал Турукан. – Все сошло... Ни одной язвы... Она уже варит для тебя какую-то похлебку из молочного ягнегка. Она сказала, что ты сможешь есть привычную еду через три дня.

Рука, действительно, была чиста и здорова, более того, кожа на ней стала как будто более молодой, тугой и упругой. Заторопившись, Батый скинул все покрывала, сел и принялся осматривать свое тело: гнойники и язвы исчезли, не оставив после себя ни рубцов, ни шрамов. Кажется, что страшной болезни и не было, что он не валялся здесь неделю в горячечном бреде, выкрикивая самые черные ругательства от боли и злобного бессилия.

В светлом проеме откинувшегося полога показалась знахарка, несущая в руках деревянную плоску, от которой распространялся пар и сочный запах свежесваренной ягнятины, заливший рот хана обильной кисловатой слюной. Она села на коленях рядом с постелью и достала откуда-то из рукава маленький черпачок, которым принялась зачерпывать шурпу²⁴ с мелкими кусками мяса, ловко отправляя их в рот больного, словно орлица, кормящая своего орленка. Хотя вкус от незнакомых трав и приправ был непривычен, Батый жадно жевал и глотал, причавкивая от нетерпения и слизывая капли с подбородка. Когда с едой было покончено, она таким же ловким уверенным движением вытерла хану рот, заблестевший от маслянистого навара. Эта детская непосредственность и смелость развеселила Батыя: дикарка, вероятно, не имела никакого представления о высоком положении своего больного, который мог в любую минуту распорядиться ее жизнью по своему усмотрению. Впрочем, хану не хотелось ее одергивать.

– Батый, – сказал он, утвердительно кладя руку себе на грудь. – Я – Бату-хан. Батый. А ты?.. – он перевел указательный палец на нее. Палец уперся в висевшее на груди знахарки ожерелье, которое целиком было сделано из медвежьих зубов. Зубы тихонько поднимались и опускались, следуя за дыханием высокой и крепкой груди. – Ты? – снова спросил хан, заставив себя оторваться от груди, посмотреть на лицо и встретиться глазами с ее чуть насмешливым ярко-голубым взглядом.

– Учайка, – спокойно ответила она, улыбаясь все смелее и показывая собственные, крупные красивые зубы, здоровые и целые, словно у молодой лошади. – Монь лемем²⁵ Учайка.

– Утяйка, – повторил он, чувствуя, что начинает непроизвольно улыбаться вслед за ней.

Трое следующих суток Батый ел приготовленные Учайкой похлебки, поскольку на приносимую Туруканом жареную баранину и конину она отрицательно качала головой, пил сваренные ею отвары разного цвета и запаха и смотрел, как она, сидя на полу рядом с большим

²⁴ Похлебку (таг.).

²⁵ Меня зовут (зарайск.).

дорожным сундуком, разбирает травки, принесенные с собой в большом бауле. В остальное время он спал, приказав Турукану отправлять всех джагунов, с какими бы вестями они не приходили. Кипчакским ханам было велено убираться подобру-поздорову из лагеря, благославляя джихангира за то, что он даровал им их жалкие жизни. В конце третьего дня, когда день уже сменился ночью и одуревшее от стояния на месте войско с трудом утомилось, он в первый раз за две недели самостоятельно, без посторонней помощи вышел за пределы юрты. Снег за время долгого стояния был вытоптан и запачкан всякими отходами людской жизни: как только покров обновлялся свежим снежком, его тут же заваливали и заливали помоями, мусором и нечистотами. Поморщившись, Батый посмотрел вверх, сильно, до рези в груди вдохнув зимний воздух и выпуская его из легких медленной струей горячего пара жизни. Низкое зимнее небо нависло над юртами, придавливая их к земле своей чернотой. Ветер лениво перетаскивал по этому черному пространству серые сгустки облаков, сквозь которые прорывались мелкие и крупные звезды. Покрутив головой, Батый отыскал слева Повозку вечности,²⁶ дуга которой свешивалась за его макушку. Месяца не было: он гостил у своей земной жены Хоседем, эта колдунья своими чарами сманивала его с неба каждую четвертую неделю. Батый вдруг вспомнил о своих женах, которых не посещал с визитом как раз три недели. Шатер любимой жены Асият-Ханум находился здесь же, в нижней части лагеря, до него можно было дойти за десять минут. Наверняка, она плачет каждый день от тревоги и неизвестности. Батый задумчиво поглядел в темноту, прятанную шатер любимой ханской жены, и, решительно повернувшись, зашел в юрту. Пора было сниматься и двигаться к Юрюзани.

– Утяйка, – улегшись на постель, позвал он знахарку, которая, оставив свои травки, занималась тем, что расчесывала свои густые, слегка волнистые волосы, доходящие ей до пояса, – подойди сюда.

Она послушно откликнулась на его голос, выбралась из-за сундука и, подойдя, опустилась на колени рядом с ложем, вопросительно глядя на хана. Он провел пальцами по бусам из медвежьих зубов, чувствуя их острия на подушечках своих пальцев. Затем он провел ладонью по ее шее – от подбородка к ключицам, так что большой палец попал на яремную жилу справа, указательный и средний – спустились к левой ключичной впадине, а безымянный с мизинцем легли чуть пониже кости. Она вытянула шею, и Батый ощутил в своей руке биение ее пульса, будто он сжимал мелкую птаху.

– Была у Месяца жена – прекрасная Солнце, – глядя второй рукой девушку по колену, заговорил он, не заботясь о том, что она его не понимает. – Любила она его всем сердцем, берегла и стерегла, словно малое дитя. Было также у него много других жен и наложниц, было их такое большое число, что ни один звездочет в мире не мог их сосчитать. Вот только однажды посмотрел Месяц с неба на землю и увидел там прекрасную шаманку Хоседем, которая мыла свои белые ноги на речном берегу, думая, что никто не видит их наготу под покровом темной ночи. Закачался Месяц от красоты Хоседем, закружился по небу. Удивилась шаманка, что свет в ночи скачет и прыгает, посмотрела на небо и увидела влюбленного Месяца. Понравился Месяц Хоседем и решила она сманить его к себе на землю, потому что не было у нее небесных любовников, – только люди, звери и мангусы²⁷. Скинула она с себя рубаху и стала звать Месяца и манить его к себе, говоря: «Месяц, Месяц, мой дружок, позолоченный рожок, лезь ко мне в окошко, – дам тебе горошка». Забыл Месяц про любимую жену Солнце и спустился на землю к шаманке. Увела она его в свое жилище и целую неделю не хотел он ее покинуть, ибо все знают, сколь умелы и опытны в искусстве любви все шаманки, способны они подарить мужчине ни с чем не сравнимое удовольствие. Вот только обычно это безобразные сморщенные старухи, поэтому находится на них чрезвычайно мало охотников. Я думал, что Хоседем была

²⁶ Созвездие Большой Медведицы.

²⁷ Сказочные кровожадные чудовища, обладающие сверхъестественной силой, вампиры.

единственной молодой и прекрасной лицом колдуньей, но сейчас вижу перед собой вторую. Убедился я, что ты искусная знахарка и врачевательница, которой нет равных. Но я выздоровел, и тебе пришла пора проявить свои умения на ложе любви. Снимай одежду, покажи мне красоту.

Он передвинул руку на заднюю часть ее шеи и начал несильно, но настойчиво пригибать ее к себе. Но Учайка опередила его и, изогнувшись в груди мягкой волной, так что зубы ожерелья тихонько заклацали, стучаясь друг о друга, наклонилась совсем близко к его лицу, и ее длинные распущенные волосы опали на коричневую замшевую подушку, закрыв голову хана светлым водопадом, сквозь который пробивались огоньки светильников. Батый впервые ощутил ее запах, тонкий и робко-сладковатый, каким пахнут первые цветы, пробивающиеся из-под весеннего снега к солнечным лучам. Желание поднялось в нем с такой силой, что заглушило все мысли о том, какими тонкостями любовных соитий владеют зарайские шаманки. Но не успел он зажать ее в объятии, как она подула ему на лицо, а затем незаметным движением положила на глаза пальцы обеих рук, плотно прижимая их глазницам, скулам и щекам. От ее дыхания пахнуло сладким запахом плодов каражимеш, созревающих во второй половине лета, и Батый успел удивиться тому, откуда она их раздобыла зимой; сразу же вслед за этой полумыслью сон навалился на хана, руки ослабли и безвольно упали, тело онемело, веки налились тяжестью и слиплись, а рот разошелся в неудержимом зевке, так что из углов губ потекли струйки слюны.

– Дзе-дзе...²⁸ – зевая, разбивчиво забормотал он, поворачиваясь на правый бок. – Сделаем это завтра поутру, ты все равно от меня не убежишь, кюрюльтю...²⁹ Я всегда получаю то, что хочу... Сейчас... я еще немного слаб после болезни... но утром ты узнаешь мою силу, я не уступлю... ни медведю, ни мангусу, и могу заставить кричать от наслаждения любую женщину... Туру-кан! Не выпускать ее ни-куда без моего распоряжения...

Он проснулся от позабытого за время болезни ощущения утренней мужской силы. Вспомнив вчерашний вечер, Батый сладко потянулся, предвкушая горячее удовольствие и позвал шаманку. Ответом была тишина, лишь под деревянным настилом юрты сиротливо заскреблась замерзшая зимняя мышь, пробивавшаяся к теплу. От второго оклика мышь испуганно заметалась, потеряв выход. На третий в юрту зашел Турукан и исполнительно склонился над джихангиром. Возбуждение сразу покинуло чресла. Батый сел своим на ложе из настеленных друг на друга медвежьих и барсовых шкур и, не смотря на нукера, обвел взглядом юрту, затем встал и, подойдя к сундуку с бумагами, резко откинул его крышку, прекрасно понимая, что Учайки там нет и быть не может.

– Где она? – ощущая обжигающий внутренности прилив гнева, прошептал он. – Где она, – сжав кулаки и потрясая ими перед носом обомлевшего от страха нукера, завопил он, – где эта ведьма, как ты смел ее отпустить, тупоголовый ишак, подлый злодей, враг всего рода Чингизидов?!

– Она ушла, Ослепительный – сдавленным голосом ответил Турукан. – Ты же сам сказал, что она больше тебе не нужна и велел ей идти домой.

– Я сказал? – изумился Батый. – Когда это я говорил тебе такое?..

– Она мне передала твои слова, на рассвете. Я не посмел послушаться твоего приказа.

– Что значит – передала? – опять закричал хан. – На каком языке вы с ней вообще разговаривали?!..

– Я не знаю, Ослепительный, – побледнев, прошептал нукер. – Она взяла меня за руку и сказала, и я все понял. Прости меня, это была моя вина, и я готов за нее расплатиться!

²⁸ Ладно, ладно (монг.).

²⁹ Желанная (монг.).

Он бухнулся на колени и ткнулся лбом Батыю в ноги. Тот брезгливо пихнул его ступней в голову, еле сдерживая желание ударить посильнее и побольнее.

– Одеваться, – сквозь зубы процедил хан. – Лошадь. Заседлать Рогнеду. Кто ездил за шаманкой? Кто знает дорогу?

– Твой верный советник Ульдемирян, Ослепительный, – торопливо поднимаясь и суетливо подавая хану шальвары, зашептал Турукан, не смея говорить в полный голос. – Ее деревня недалеко, примерно в тридцати ли³⁰ отсюда на восток по хорошей дороге. Снегопадов за последнюю неделю не было, так что ты доедешь быстро, за половину ши³¹.

Через четверть ши Батый уже скакал на молодой, еще по-детски резвой гнедой кобыле по снежной дороге, с одной стороны которой стоял черно-белый лес, а по другую расстиралась огромная холмистая равнина. За ханом следовали пять вооруженных нукеров, а впереди, указывая путь, ехал Ульдемирян, дородный, рано располневший советник, приходившийся джихангиру троюродным братом по материнской линии. Ульдемирян был не слишком умен, но слыл хорошим оратором и на курултаях умел расписать любое решение хана как шаг, ведущий к славе и богатству каждого из воинов. Быстрая езда давалась ему нелегко: жирное тело подпрыгивало на каждом ударе лошадиных копыт, а потом тяжело падало на седло, грозя завалиться направо или налево. Батыю даже показалось, что он видит дрожащее сало Ульдемиряновых щек. Самому же джихангиру скачка после долгого перерыва привела в истинный восторг: он с возбуждением представлял испуганный взгляд беглянки, которым она посмотрит на догнавшего ее охотника.

Деревенька лежала в низине, так что стала видна уже издалека. Путь к ней преграждал заваленный снегом овраг, на объезд которого пришлось потратить лишнюю четверть ши. Зарайцы, скорее всего, также издалека заметили конников, потому что когда хан и его провожатые въехали на узкую тропинку, по обеим сторонам которой были натканы низкие скособоченные избенки, то не обнаружили на улице ни одного человека, – людишки попрятались, не ожидая от визита ничего хорошего. В окошках, затянутых темными, закопченными бычьими пузырями тоже не было видно ни одного лица. Впрочем, в деревне и так остались, вероятно, лишь старики со старухами и мелкие дети, которых невозможно было забрать в качестве рабов, потому что они по старости или малолетству обычно быстро помирали, не выдержав долгих переходов до низовьев Итиля в Тмутараканские края. Эта деревня вообще не дала никакого наvara, – весть о великом походе орды опередила войска, и зарайские мужчины и парни, прихватив своих жен, невест, подросших детишек и скот, удрали в лес, где сейчас и прятались на зимовьях, обустроенных ими для спасения от татарских деренчей³² и урусутских тиунов³³, регулярно приезжавших за полюдьем³⁴. Батый впервые задумался о том, почему же Учайка не ушла вместе со всеми и как сумела избежать пленения.

Изба шаманки оказалась на другом конце деревни и была предпоследней, почти упираясь в лес. По внешнему виду она ничем не отличалась от остальных – такая же мелкая и ушедшая от старости в землю. Хан спешился, потрепал Рогнеду по узкой морде с белой звездой во лбу, бросил поводья, и, брезгливо пригнувшись, чтобы не задеть головой черный подгнивающий косяк, вошел внутрь. За ним последовали Ульдемирян и три нукера. Два остались снаружи приглядывать за лошадьми и шевелением окрестной жизни. От двери с диким воплем отскочила какая-то придурковатого вида курносая девка, столкнувшаяся с незванными гостями. Учайка сидела на лавке у окошка, склонившись над енотовой шкурой, лежавшей у нее на коленях. При виде

³⁰ Древнекитайская мера измерения расстояний, заимствованная татаро-монголами. Один ли равен пятистам метрам.

³¹ Древнекитайская мера измерения времени, также заимствованная татаро-монголами после завоевания Китая. Один ши равен двум современным часам.

³² Деренчи – разбойники (тат.).

³³ Тиун – доверенный приказчик князя, сборщик податей.

³⁴ Полюдьё – дань, взимаемая князьями со смердов.

вошедших она подняла голову, выпрямилась и спокойно посмотрела на джихангира. В глазах ее не было ни удивления, ни страха, – она словно ожидала приезда хана. Батый почувствовал досаду от обманутых ожиданий, смешанную со смутным чувством уважения к ее смелости.

– Менду, хурхэ,³⁵ – оглядывая заставленную всяким деревянным скарбом и утварью горницу, сказал он. Внутри оказалось довольно чисто, истоплено, и почему-то пахло полынью. Горница была весьма просторной, но большую часть помещения занимала объемная печь, за которую забились испуганная зарайская девка. По бокам располагались лавки и сундуки, а в угол втиснута квадратная столешница. Занавеска на печи отодвинулась, и из-за нее высунулась повязанная платком до бровей женская голова. Охнув, голова тут же спряталась обратно и тихонько запричитала в своем укрытии.

– Ты оказалась более хитрой лисицей, чем я думал, – усмехнувшись, почти ласково продолжил Батый, проходя на середину горницы, – ты сумела провести за нос мою охрану, – берикелля³⁶. Но меня тебе все равно не обмануть, зря ты на это надеешься. Собирайся, – ты поедешь со мной. Будешь моей личной лекаркой. Это великая честь, никто не посмеет тебя тронуть и пальцем, пока я жив. Собирайся, это говорю тебе я – великий воин, джихангир Бату, внук Чингиз-хана. Завязывай в узел все свои травы и идем.

Сидя все так же прямо и неподвижно, она спокойно выслушала его речь до конца и отрицательно покачала головой. Шкура в ее руках оказалась шубой, которую она, видимо штопала. Вытащив иглу с ниткой, Учайка проворно воткнула ее в моток суровых ниток, отложила его на окошко и начала гладить руками пестрый мех.

– Не дури, – теряя самообладание, сказал Батый. – Женщина не смеет перечить мужчине, не вводи меня в гнев, иначе это плохо кончится. Ты не понимаешь, с кем споришь, глупая девка!

Она опять помотала головой и, поднявшись, понесла шубу к сундуку рядом с печью. Открыв его, она неторопливо начала укладывать ее внутрь.

– Взять ее, – чувствуя, как от унижения начинают вздрагивать губы, приказал Батый, – Тащите строптивую ясырку в лагерь. Смотрите только, не покалечьте ненароком.

Два нукера тут же подскочили к Учайке и вцепились в нее, – один схватил за волосы, другой зажал колени. Третий топтался рядом, вытаскивая из-за пояса аркан. Сундук захлопнулся, тупо ударившись о полу шубы, оставшейся торчать, напоминая треугольный хвост неведомого зверя, попавшего в ловушку. Стражи повалили шаманку на пол и наклонились, собираясь вязать. Несколько мгновений она безвольно лежала в их руках, словно заснувшая рыба в сети, но потом вдруг тело ее сильно и пружинисто выгнулось несколько раз, на напряженной шее проступили толстые, узловатые синие жилы, а лицо исказилось, превратившись в уродливую белую маску. Затем Учайка открыла рот, и из него извергся низкий волчий вой, постепенно переходящий на все более и более высокие, пронзительные тона, от которых у Батые заломило уши, по всему черепу, ото лба к затылку прошла острая боль, а кости заломило так, как будто все туловище разрывалось на части. Державшие шаманку стражники начали дергать головами и трясти руками. Через минуту оба они, бросив жертву, стояли друг против друга на четвереньках, отклячив зады, и тонко прилеивали, словно молочные козлята, зажав уши кулаками. Третий же, бросив аркан, как шар, крутился вокруг себя, стараясь в этих поворотах дотянуться до лежавшего у его ног тесака.

– А, шайтан! – не выдержав воя, злобно закричал Батый. – Перестань, замолчи, хватит!..

Она покорно умолкла и, поднявшись с пола, медленно подняла на хана бледное лицо с рассеченной в схватке нижней губой, из которой сочилась красная струйка крови. Оба нукера

³⁵ Здравствуй, милая (монг.).

³⁶ Молодец (тат.).

тут же обессилено повалились к ее ногам. Третий все-таки сумел схватить тесак и, сжимая его в трясущейся руке, со страхом оглядывался на Ослепительного.

– Хватит, – хрипло дыша, повторил Батый, еще слыша звон в ушах. – Отойдите от нее все! Мне не надо, чтобы она отравила меня в ненависти. Я хочу, чтобы она пошла со мной добровольно и стерегла меня, как зеницу своего ока, поскольку вы, дурачье, не можете уберечь своего хана. Да найдите же, наконец, толмача, жирные ленивые шакалы, соревнующиеся друг с другом за милости и еду с моего стола! Вы горазды только жрать и обвешивать себя золотыми побрякушками, свиные потроха! – дойдя до предела гнева, он яростно ударил ногой по объемной деревянной кадке с водой, стоявшей рядом. Большая лохань, в которой можно было искупать пятилетнего ребенка, перевернулась и вся вода растеклась по полу. Обрадованный тем, что батырская сила к нему вернулась, Батый глубоко вздохнул, смиряя себя. Учайка, стоявшая ровно и прямо, после того как испуганные нукеры отступили (отползли), и, чуть склонив набок голову и облизывая поврежденную губу, со спокойным любопытством слушавшая крики хана, присела и пальцами правой руки коснулась добравшейся до ее босых ног воды. По луже в разные стороны побежали трещины, и через полминуты она застыла прозрачным ровным слоем молодого тонкого льда.

Батый медленно повернулся к Ульдемиряну, ледок под подошвой его новых красных шагреновых сапог жалобно хрустнул. Тот стоял, словно статуя, растопырив толстые скрюченные пальцы, выпучив глаза и разинув рот, совсем позабыв, что в каждом опасном случае должен немедленно отдать за повелителя свою жизнь.

– Если ты, – тихо сказал Батый, отдельно и четко выговаривая каждое слово, – не найдешь мне толмача до того, как уйдет этот день, то с первой звездой твоя голова будет кинута мной на корм собакам. Ты меня понял.

Он повернулся и вышел, не глядя более на Учайку.

Толмача привели в девятом ши, когда короткий зимний день, мелькнув быстрым косым взглядом красного солнца, начал уходить в плотные серо-голубые сумерки. Батый, намахавшийся за день деревянным кривым клинком в учебном сражении, устроенном дабы восстановить боевую ловкость, устало сидел у жаровни, перебирая скопившуюся за время болезни почту и размышляя о том, как же поступить, если толмач не найдется. Надо было сниматься с места и идти на Юрюзань, – ордынцы увидели своего предводителя, и жажда войны с новой силой разлилась по их жилам. Уходить без Учайки не хотелось. Получался замкнутый круг с неизвестным выходом.

На этих мыслях в юрту без доклада вбежал запыхавшийся Ульдемирян и закивал головой, тряся жирными щеками и длинными вислыми усами: «Нашел... я нашел его, Ослепительный... твой Ульдемирян так предан тебе, что разыщет даже черную жемчужину на дне морском или иголку в стоге сена...»

Отшвырнув свернутые в трубки письма так, что они разлетелись, раскатились и запрыгали по юрте, Батый вскочил и кинулся сам одевать халат, торопясь успеть в деревню, пока окончательно не стемнело.

Толмач оказался стариком из того же самой селенья, где жила Учайка, но отыскался, как это не было удивительно, в лагере Батыя. Звали его Атюрька, был он колченог, сильно прихрамывая на правую ногу, и однорук, – левая рука его кончалась на локте, болтаясь внизу пустым рукавом. В молодости по непоседливому характеру его занесло сначала в Булгарию, а оттуда по Итилю он добрался до самой Тмутаракани, где занимался всем, чем ни попадя, от торговли до воровства. Скорее всего, руку ему отрубили именно за эти нечистые проделки, но Атюрька всех уверял, что на обратной дороге в зарайские края на ночевке в лесу руку ему отгрызла лесная богиня Вирява, положившая на Атюрьку глаз и решившая заполучить его себе в мужья. Атюрька же, будучи честным мужем своей жены, которую не видел двадцать пять лет, шляясь

между дикопольских³⁷ куманов³⁸, болгарских татар и тмутараканских саксинов и буртасов³⁹, Виряве отказал, после чего та разъярилась так, что вцепилась своими длинными, желтыми и острыми зубами, способными перегрызть стволы деревьев в три охвата, в Атюрькину руку и отчекрыжила ее в один присест. Истекающему кровью Атюрьке пришлось спасаться бегством, и он смог удрать от разгневанной Вирявы только потому, что дело произошло на краю леса, и он успел добежать до поля, где хозяйничала уже другая зарайская богиня – Паксява, замужняя и потому более довольная жизнью. Все эту историю Атюрька рассказал хану по пути в деревню, сидя рядом с ним на легких санках, в которые хан велел запрячь Рогнеду, боясь, что старик свалится с лошади и убьется, не доехав до Учайки. По-татарски Атюрька болтал весьма бойко, хотя криво и косо, впрочем, Батый и сам часто ошибался, говоря на татарском языке, хоть и знал его с детства. В лагерь Атюрька притащился сам, принеся с собой бурдюк зарайского хмельного питья пуре, и гулял там всю неделю Батыевой болезни. Одним из умений, которыми он овладел в Тмутаракани, оказалась игра в кости, к коей Атюрька оказался весьма способен и даже талантлив. Так что, когда его привели пред светлые ханские очи, на лохматой голове старика была надета меховая воинская шапка, а на костлявых плечах гордо сидел парадный аксамитовый⁴⁰ халат, обошедшийся какому-то проигравшемуся нукеру в шесть или семь взрослых рабынь. Атюрькино пуре давно закончилось, но в лагере не переводилась хорза⁴¹, так что старик был во хмелю и смотрел на хана весело и гордо, задирая свою клочковатую седую бородавку. Впрочем, тмутараканские обычаи он знал хорошо, поэтому сразу спокойно и привычно поцеловал сапог хана, оставив на нем смачный слюнявый след.

Когда Рогнеда встала у знакомой коновязи, на улицу уже спустился вечер и в окнах зарайских домишек пробилась слабые огоньки. Из труб в темные небеса поднимался сизый дым, – зарайцы, как видно, топили избы по вечерам, чтобы не привлекать к деревеньке лишнего внимания проезжего люда.

Зайдя внутрь, Батый опять сразу же наткнулся взглядом на Учайку, – она сидела за накрытым столом, который был переставлен на середину горницы. Ее губа была уже целой, словно утром ничего не случилось. На шаманке было надето праздничное белое платье, расшитое по груди и рукавам красно-желтой вышивкой; ожерелье из медвежьих зубов пряталось под густой россыпью разноцветных бус, сделанных то ли из камня, то из выкрашенного дерева. На голове девушки возвышался высокий красный войлочный тюрбан, очелье которого было выложено серебряными монетками, а с висков на нитках спускались скрученные из шерсти бубенцы. На столе на праздничной ширинке в разного размера плоских тарелках были расставлены угощения, по виду напоминавшие каши, и стояло баклажка какого-то напитка, кисло-сладковатый запах которой уже плавал по горнице. Она встала, вышла из-за стола, поклонилась гостям в пояс и заговорила, указывая рукой на угощение. Батый вопросительно посмотрел на Атюрьку.

– Она говорит, – быстро залопотал тот, коверкая слова, – что ждать на тебе и радостная, что ты приходишь. Говорит, что тебе должен ее повыслушаети и нарешаети, как когда тогда ты поступаеши. Но сперва за столу приглашает.

Гости уселись. Откуда-то из-за печки выползли Учайкины домочадцы, – курносая девка и повязанная платком, словно безликая, баба, – и робко подсели к мужчинам. Ульдемирян брезгливо отодвинулся, тут же натолкнувшись на Атюрьку. Оставалось лишь терпеть соседство харакун⁴². Учайка налила каждому по деревянному стакану питья из баклажки и, подняв

³⁷ Дикое поле – вольные степи к югу от Юрюзанского княжества, где кочевали с тысячными стадами и табунами половецкие ханы.

³⁸ Куманы – половцы.

³⁹ Исчезнувшие племена, жившие в низовьях Волги.

⁴⁰ Аксамит – бархат.

⁴¹ Хмельной монгольский напиток на основе молока.

⁴² Харакун – букв: черный человек; человек из простого народа.

своей, знаком пригласила всех выпить. Покрутив носом, Батый решительно проглотил все до капли. Вкус был неплохой, – с легкой кислинкой, разбавляющей сладость. В голове приятно закружилось, но разум остался трезвым. Ласково взглянув на хана, Учайка положила ладонь ему на руку и заговорила на своем твердом и округлом зарайском языке. Время от времени она останавливалась, давая Атюрьке перевести, так что казалось, будто они рассказывают сказку на два голоса.

– Дак этта... Как моя тебе и сказывать, хан, – девка этта – особенна. Не родная она на матери своя, нашли она в лес, под внизу вещей дуб, опосля на три год страшный засуха, когда тогда все пожгло, и еда крошка не было; оставшееся от гусеница ела саранча, оставшееся от саранча ел червяк, а оставшееся от червяк жуки доел. Видать, родная мать прокормити девчонка не смогла, вот в лесу и свела ей. Ну а этот баба вот подбрати, жалко, вишь, стало. Сызмальства уж у она дар-от виден стал, – коровенки поперва полечила, потом лошадь, а потом и люди стала пользовати. Но, говорит, дар к ней только для добрый дела, худые творити не может.

– Говорит, мол, понимала она, что ты хочешь она с собой увезти. Говорит, что за месяц перед за то дело, как девушкой стала, сон увидел, как приехати за она чужестранец с черные глаза и гладкий лицо и посаживати на свой добрай конь. Когда тогда, мол, и понимал, что не судьба ей выйти взамуж за свой местнай парень, а посему, как, значитя, когда тогда в девичество пошла, то всех от ворота поворота давал, а честь же своя ея берегла и до сей пора под мужчина не возлежати.

– Не возлежала?.. – не утерпев, вскинул брови Батый. – Я бы на ее месте поостерегся говорить такое, после того, как мои воины протоптались здесь почти месяц.

– Зря-от ты так, хан, – укоризненно покачал седыми патлами Атюрька, надув морщинистые щеки, – моя это толмачит не будуги. Мнилось я, видел-от ты, что она делать умети? Коли сказал, – стал быть, соблюл себя девка.

– Говорит, мол, что видит, что ты в сумлениях, но, мол, это дело-от поправимай. А когда тогда сей час, говорит, должен ты слышати она со всей вниманием. Не может она поступаети против воля небеснай и желание своя, – исчезнет когда тогда дар ейнай. Но видит она, что ты геройский многославнай батыр и лица красивай, – люб-от ты для она, значитя. Готов она уходити с тебя и любити тебя, но только и ты, в свой очередь, должен полюбляети она и держати при на тебе и пояти не как ясырка иль наложница, а возмечь на честнай жена. А уж когда тогда она змеей извернется, лисицей обернется, но сбережет тебя от все лихой умыслы.

– Х-хох!.. – не выдержав, воскликнул Ульдемирян, оторопевший от прыти, с которой шаманка из неведомой полудикой зарайской деревни сваталась в жены великого джихангира, завоевавшего полмира. Хан, все это время сидевший с непроницаемо-неподвижным лицом и полуприкрытыми веками, сурово скосил глаз в его сторону, и советник виновато прикрыл рот пальцами, щедро унизанными золотыми перстнями с большими разноцветными яхонтами.

– А потому, как и положен жених, должен ты-от одарить щедрой дары мать она приемнай и сестрица она молочнай, а также не обделити твоя милость родной она сельцо, котрый девка навек и во всем покидаети, поезжая с тебя на краю чужой и далекай. И коли будешь ты согласити на эти она слова, то когда тогда завтра иль после завтра, иль когда решаешь, должен-от тебе повенчати с она по наша зарайская обычая и обходити три раза вокруг заветнай дерева. Тогда будет вы законнай муж и жена и можечи честно возлежати и спати вместе каждой ночь.

– Говорит, все сказал.

Атюрька покивал головой и, как теленок, почмокал губами, подтверждая сказанное. Наступило молчание, показавшееся особенно глубоким после длинных, плавно сменяющих друг друга речей. Затем Учайка встала и пододвинула каждому по плошке с кашами, – Батыю досталась светло-желтая, крупитчатая, по середине которой проходил потек растаяв-

шего масла. «Каша ести – дума думати!» – отправляя в рот деревянный черпачок, подмигнул хану Атюрька. Батый взглянул на девушку, серьезно жевавшую свою порцию, положил в рот теплую вязкую массу – раз, другой, третий, – проглотил все и, поднявшись, пошел к выходу. На пороге он обернулся и отрывисто бросил:

– Хорошо. Завтра я приеду в пять ши. Пусть она будет готова. Деревня освобождается от дани до конца моей жизни. На своих тещ я никогда не скупился.

Выйдя в морозную темноту, он направился к Сирину, гнедому жеребцу Ульдемираяна. Тот, выбежав вослед джихангиру, тяжело сопел у него за спиной.

– Говори, – разрешил Батый, отстранив нукера и начиная самолично развязывать закрученный в несколько узлов чембур⁴³.

– Не гневайся, Слепительный, – смиренно склонившись, начал советник с тем приторно-покорным выражением лица, с каким всегда начинал свои окольные монологи на курултаях. – Или вели казнить меня, если я прогневаю тебя своими словами, – я с радостью приму любую мучительную смерть от твоего приказа. Ты же знаешь, как я тебе верен, – служение тебе есть единственный смысл моей жалкой жизни. Уверен я, что нынешнее решение твое также многомудро, как и все прошлые, но пристало ли тебе, Чингизиду, жениться на девке никому не ведомого подлого крестьянского племени? Что будут говорить между собой воины? Не захворает ли от расстройства Асият-Ханум, любимая из твоих жен, нежная, как цветок лотоса, что по твоему приказу привозили для нее из далекого Китая?

Батый выслушал его речь до конца с твердым, словно закаменевшим лицом, сузив глаза до темных полосок, – двигались только руки, медленно распутывавшие чембур. При упоминании имени своей шестой, до этих пор любимой жены, он внезапно бросил поводья, повернулся к советнику, стоявшему у него за спиной, и улыбнувшись, погладив редкую бородку.

– Кое в чем ты прав, мой верный Ульдемирян. Войска, действительно, незачем посвящать в тонкости этого брачного союза. Объяви завтра, что великий джихангир выбрал себе седьмой женой дочь зарайского инязора и тюштяна... как там звали этого петуха, который пытался подсунуть мне рябую курицу из выводка своих цыплят? Пургас, я вспомнил сам, не утруждайся, – у Слепительного прекрасная память. Значит, дочь зарайского инязора и тюштяна Пургаса, который отныне считается нашим баскаком и союзником и обязуется во всем помогать монгольской орде, равно, как и мы ему. Напиши бумагу, принеси мне на подпись и отправь этому правителю, чтобы учился разбираться в нашей грамоте. А гонец на словах пусть прибавит, чтобы эта курочка Ряба сидела тихо и ровно на своей необъемной задней части и терпеливо дожидалась бы мужа, сколько бы времени он ни проводил в походах. А уж мы здесь за нее повеселимся.

Ульдемирян опустил к ногам Батыя и поцеловал голенище его красного сапога:

– Мудрость твоя, Слепительный, не знает ни границ, ни пределов... Прости меня, своего верного раба, за то, что я осмелился давать тебе советы.

– Ты, кажется, переживал о печальной доле Асият-Ханум? – брезгливо поджимая губы, продолжил Батый, снова вернувшись к коню и поправляя сбившееся стремя. – Действительно, будет жаль, если ее молодая красота источится в слезах. Но ты можешь ее утешить, – я дарю ее тебе. А если ее отец будет задавать ненужные вопросы, скажи, что его дочь в течение целого года так и не смогла понести от меня наследника. Не нужно ехать за мной, оставайся сейчас здесь и следи, чтобы с моей невестой ничего не случилось. Асият-Ханум вряд ли тебя дождетя, если хоть один волос упадет с этой русой головы. Завтра мы оба сможем насладиться своими женами. Й-йа-ха!..

Он вскочил в седло, резко стегнул лошадь плетью по крупу и поскакал обратно. Ульдемирян поднялся с колен и остался стоять у коновязи, кусая губы; тонкий молодой месяц, робко

43

Идущий от уздечки длинный ремень, используемый, чтобы привязать коня.

выглянув из-за тучки, осветил темный румянец, медленно расплывшийся по изжелта-смуглым раздутым щекам советника... Стоявший в сторонке и дожидавшийся конца их беседы Турукан, которому в этот раз хан милостиво разрешил сопровождать себя, спешно вскочил на свою вислосадую пожилую лошадку, вытянулся и перед тем как кинуться вдогонку, неожиданно завопил на всю округу: «Яшасын Бату-хан!»⁴⁴

Весь следующий вечер Батый слушал этот возглас от темников и джагунов, заходивших в юрту с поздравлениями, складывая перед низким столиком, за которым сидели молодожены, свои дары для новой, седьмой жены великого джихангира. Учайка была одета в китайский халат, по желто-зеленым весенним пространствам которого между белоснежных цветов кустарника мей, распахнув крылья, летели серо-фиолетовые журавли. Волосы её были спрятаны под богатым и пышным убором из жемчуга и алых кораллов, свисавших подвесками до плечей; на густо набеленном лице резко выделялись сиреневые веки и кроваво-красные губы, от переносицы к вискам пролегали широкие темно-синие брови, к которым тянулись стрелки подведенных черной тушью глаз. Одевавшая и красившая шаманку к праздничному пиру китайская невольница Ян-Мей, размазывая маленьким кулачком слезы по круглому лицу, неслышно и горько плакала от жалости к своей госпоже Асият-Ханум, которую джихангир так безжалостно предал и продал.

Батый смотрел на чужое, измененное гримом до неузнаваемости лицо объявленной его женой шаманки, ее ровную выпрямленную спину и вытянутую шею, переходящую в твердый подбородок, и, милостиво кивая входящим, вспоминал утренние события, до того странные и невероятные, что их невозможно было даже рассказать факиху⁴⁵, сопровождавшему войско и записывавшему в книгу все происходящее с джихангиром. Об этих событиях лучше было вообще забыть, так, словно их и не было. Да и точно ли они были? Может, Учайка опять напустила на него сон и ему все это лишь привиделось?

Он приехал за ней, как и обещал, в пять ши, когда день уже окончательно проснулся и на зимнее низкое небо внезапно выкатилось блестящее, как золотая монета, солнце, обещая нагнать к обеду мороза, от которого снег под войлочными сапогами нукеров будет жалобно повизгивать, словно щенок, пнутый ногой под брюхо. Учайка, вероятно, выглядывала его в окошко, или же жениха караулили ее мать с придурковатой сестрицей, потому что не успел он подняться из саней, как она вышла наружу. Она была одета в ту самую пеструю енотовую шубу, которую штопала вчера, а на красный тюрбан был повязан шелковый голубой платок с золотыми кистями, спускавшийся на спину длинным хвостом, трепетавшим от каждого движения. Она поклонилась маячившим на пороге мамане и сестрице, которая от переживательности момента замычала и заблеяла, подтверждая свою убогость, потом отвесила поклон Батыю и, не мешкая, ловко забралась в его санки. Усевшись рядом с женихом, она отобрала у него поводья и, не успел он сказать ни слова, легонько подстегнув Рогнеду, повернула ее направо, к уводящей в лес тропке. Турукан двинулся было за ними, но она отрицательно помахала ему выпрямленным указательным пальцем, и тот послушно остановился, благоговейно поклонившись шаманке. Батый в очередной раз удивился, как быстро эта зарайка научилась всеми командовать и с какой покорностью все выполняют ее волю.

Они въехали в лес и двинулись по довольно широкой санной дороге, тихо поскрипывавшей под полозьями плотно придавленным снегом. Судя по теням от деревьев, они ехали на восток, но Батый совершенно не помнил этого пути. Затем солнце вдруг исчезло, и затянувшееся серым облачным покровом небо прибавило сомкнувшимся в ряды стволам суровой черноты. «Куда она меня везет?» – подумал Батый, с неудовольствием ощущая медленно растека-

⁴⁴ Да живет хан Батый! (тат.)

⁴⁵ Ученый, летописец (тат.)

ющеся чувство затаенного страха, липкое и густое, словно оставленный на камне след слизи. «Как можно было довериться ей?.. Она вполне могла успеть сговориться со своими соплеменниками или с урусутами, которые уже ждут в засаде...» Словно подтверждая его темные подозрительные мысли, с верхушки надвигавшегося слева на санки огромного, в два обхвата дуба, с давно обломанными мертвыми суками и заросшей старыми болячками корой, внезапно со злобным граем, оглушительно захлопав крыльями, слетела стая черных ворон и кинулась прямо на коня. Рогнеда испуганно, тонко и жалобно заржала, остановившись, как вкопанная, и задергав головой. Батый не удержался и глухо вскрикнул, инстинктивно загородив глаза локтем. В тот же самый миг Учайка поднялась и, прочертив в воздухе правой рукой дугу, три раза презрительно и резко прокричала что-то, будто бы закаркала сама. Птицы отчаянно забили крыльями перед самой гривой кобылицы, а затем, наткаясь друг на друга, разлетелись в разные стороны, будто их раскидал удар невидимого копья. Дуб рассерженно заскрипел своим огромным туловищем, угрожающе закачав несимметрично растопыренными корявыми руками и пальцами. Хану показалось, что из-за толстого черного ствола с белыми снежными разводами на мгновение выглянула пара узких глаз, светящихся слабым желтым фосфорным светом. Рогнеда опомнилась и рванула вперед крупным нервным галопом; сани заболтало по наезженной дороге, и Батый словно даже почувствовал, как дрожат ноги кобылицы. Впрочем, проскакала она недолго: Учайка, успевшая опуститься на сиденье в тот же самый миг, как лошадь понесла, дала ей выплеснуть испуг, а затем несколько раз коротко, но сильно натянула поводья. Рогнеда фыркнула, но послушно сбавила скорость, переходя на рысь. Вскоре показалась развилка с лежащим посередине большим валуном в половину человеческого роста: дорога расходилась на три ветки. Лошадь дошла до камня, почти по-человечески устало вздохнула и остановилась, тряхнув гривой. Учайка вылезла из санок, погладила Рогнеду по разгоряченной морде, дунула ей в ухо, а потом махнула Батыю ладошкой, зовя его за собой. «Надо развернуться и уехать, бросив эту нелепую свадьбу», – подумал он, встал и двинулся за шаманкой.

Они свернули на левый, самый узкий из всех трех отворот, спускающийся вниз, и запетляли по его изгибам, которые совсем скоро превратились в узкую тропинку с кочками и ямами, продиравшуюся сквозь тесно прижатые друг к другу тела деревьев, топорщившихся корявыми голыми сучьями, меж которых порой просовывалась игольчатая еловая лапа. Спотыкаясь о корни деревьев и проваливаясь в присыпанные снегом ямки, Батый шел за своей невестой, все сильнее и сильнее злясь на нее, себя, чащобу и чувствительно пощипывавший уши и щеки мороз, которого не бывало в тмудараканских степях даже с их продувным ветром. Они должны были взять Юрюзань уже два месяца назад и двинуться на богатую, заплывшую жиром Машфу или спесивый купеческий Ноугород, ухватив за золотое вымя западную Ганзу, а вместо этого застряли в этих дремучих зарайских лесах, по которым он, великий джихангир, сейчас бродит вместе с этой невестой откуда свалившейся на его голову невестой! О, как ее он станет ненавидеть, когда пройдет постыдной страсти жар!.. Батый с ненавистью посмотрел на плывущий впереди голубой шелковый хвост, спускавшийся с тюрбана Учайки, и представил, как она будет корчиться, если он сейчас накинёт ей сзади на шею плетень, сразу сильно и быстро закрутив ее в несколько раз на затылке. Сухо щелкнули шейные позвонки, вывалившийся из рта язык почернеет, глаза закатятся к побагровевшему от напряжения лбу с выступившими на нем сине-зелеными жилами. Мгновение, и в его руках будет лежать мертвое безвольное тело, которое можно запихнуть между стволов или просто оставить на тропинке. Так и надо сделать! Царевич я, – довольно, стыдно мне за дикою зарайкою таскаться. Он слегка нагнулся и тихо потянул лежащий за голенищем правого сапога кнут. Учайка обернулась и, посмотрев на него своим ясным до весенне-небесной синевы взглядом, произнесла: «Сынек»⁴⁶.

Оторвав глаза от сапога, хан увидел, что тропинка кончилась и они стоят на краю очерченного лесом большого пустого круга, в центре которого росло одинокое дерево. По виду оно походило на каражимеш, но было куда выше, с более объемной и раскидистой кроной, напоминая ему виденные в Китае деревья мей⁴⁷. К дереву вела присыпанная снегом стежка, огибавшая ствол широкой круглой петлей. Ветви его были так густо и плотно занесены снегом, что казалось, будто растение забыло о времени года и решило зацвести зимой, не дожидаясь прихода весны. Батый вдруг вспомнил стишок, который читал ему занимавшийся в Орде постройкой стенобитных орудий китайский изобретатель и зодчий Лей Чи, задумчивый чудак с клочковатой бородой, растущей неровными прядками, одинаково спокойно улыбающийся и на похвалу, и на недовольство джихангира:

Все, все бело! Глаза не различат,
Как тут смешался с снегом сливы цвет...
Где снег? Где цвет?
И только аромат
Укажет людям: слива или нет.

«Дерево мей, о Ослепительный, – вертя в пальцах сорванный цветок, объяснял Лей Чи Батыю тмутараканской жаркой весной года три назад, – это особенное дерево, гармоничность сочленений которого ты не отыщешь ни в каком другом растении. Цветы его выражают небесную силу Ян, а ствол и ветви – земную силу Инь. Если ты внимательно посмотришь на дерево мей, то увидишь, что ветви его располагаются по четырем направлениям четырех времен года. Цветоножка же есть не что иное, как великий предел Тай Цзи, к которому возвращается цветок после опадания лепестков. Тычинки раскрытого цветка, о Ослепительный, соединяют в себе дневное светило Тай Янг, ночное светило Ю Лянг, а также звезды дерева, земли, неба, Муксинг, Туксинг и Тянь Ван Синг, золотого металла Йинсинг и звезду короля ада Минг Ван Синг...»

Китайский слова скрипели тогда в ушах Батыя так же, как сейчас зарайский снег под подошвами сапог. Учайка протянула ему горячую, на удивление не замерзшую на морозе руку, и он пошел за ней к дереву, забыв о своей неистовой злобе и черных помыслах. Дерево было уже взрослое, плодоносившее не меньше десяти лет, с кроной, под которой с обеих сторон могло уместиться, выстроившись в ряд, по семь человек, но ствол оставался тонким и изящным, не обезображенным ни стужами, ни болезнями, ни заячьими зубами. Когда они приблизились к крайней ветке, шаманка достала из кармана клубочек красной шерсти и обмотала кончик вокруг безымянного пальца правой руки сначала себе, а потом Батыю, так что они оказались привязаны друг к другу. Затем она начала разматывать клубок, зацепляя нить за нижние сучки, причем нить проходила внутрь столь легко и незаметно, словно была вдета в иглу, – с дерева не упало ни единой снежинки. Лишь только они двинулись по петле, обходя дерево вокруг по движению солнца, шаманка неожиданно запела сильным, словно чеканным, звенящим на сменах тонов высоким голосом: в нем была и неподдельная глубокая страсть, и молодость, и сила, и сладость, и какая-то увлекательно-беспечная, грустная скорбь. Незнакомые слова вылетали вместе с паром из ее уст, будто диковинные, блестящие яркими шелковистыми перьями заморские птицы, садившиеся на снежные ветки и застывавшие резными ледяными фигурками в морозном воздухе. Облака на небе разошлись, и из них выглянуло любопытное оранжевое солнце, под оком которого снег тут же засверкал мелкими огненными ало-серебряными искрами. Батый обвел взглядом эту сказочно-загадочную, пронзительную зимнюю красоту и вновь заметил между окружавших их деревьев несколько пар перемещав-

47

Слива, терновник (кит.).

шихся недобрых желтых глаз, – три... пять... семь... Учайка все пела, на восклицаниях, напоминавших хану искаженную до неузнаваемости половецкую речь, окольцовывая своей красной нитью дерево мей. От каждого звука ее голоса веяло чем-то родным и необозримо широким, словно знакомая степь раскрывалась перед Батыем, уходя в бесконечную даль:

«Сисем менель ало – гилло магал! – эрясь Чинь од тейтерь. А золотань кудо – шингафа! – вешнесь тейтересь; а богатырь-цёра Ноугородонь сакшность; ливтнесь тейтерентень толонь гуй. Вай, вай, Анге Патяй!.. А панарось гуеньть золотой ды медной, викшнесь питней жемчуг кевсэ; прянь орштамось мазы вадря; а пшти стрелась дедань эрямо парьстэ саезь. – Видихама гилло могал диллоф! – Хвалынь морясто ливтнесь толонь гуесь, сэнь морява ливтнесь васоло веле, тейтеренть кудозонзо сакшность. – Шиялла шибулда кочилла барайчихо дойцофо кирайха дина! – Вай кода артсь татар тол гуесь, вай сон саизе Чи од тейтеренть эстензэ козейкакс, вай ускизе сонзэ бусурманонь Золотой Ордас, васоло апаро масторс. – Уахама широфо, вай, вай, Анге Патяй!..»⁴⁸

Нити хватило ровно на три полных петли; к концу пение шаманки стало более мягким и заунывным, а в последних словах будто бы даже проскользнуло сдерживаемое рыдание, слабым эхом разошедшееся по опушке, мягко ударяясь о стоявшие круглой стеной ели и березы и отзываясь томительной дрожащей тревогой в груди хана. Остановившись, Учайка повернулась к Батыю вплотную, лицом к лицу и положила свою правую руку на его левое плечо; произвольно оберегая связывавшую их нить, он повторил ее движение. «Вай... ваай...» – беззвучно прошептала она и, приблизив к нему холодное румяное лицо, поцеловала мягкими бархатистыми губами, оставляя во рту привкус сладкой сливовой наливки. Хан закрыл глаза и услышал приглушенное сдавленное рычание, доносившееся сзади. «Так я и знал, – с мучительным удовольствием подумал он. – Это волки, так я и думал. Вот погибель пришла, и бежать не успеть...»

– Курок! – со всего размаху толкнув его в грудь, закричала Учайка. – Бежим! Быстрее!..

Не дожидаясь его, она кинулась бежать по тропинке обратно к лесу; нить, связывающая их, порвалась, и всю руку Батыя, от кисти до плеча, заломило такой резкой острой болью, как будто по ней наотмашь ударили мечом с гнутой сталью, рвущим плоть и вгрызающимся в кость, словно пила. От боли потемнело в глазах; охнув, он обернулся и как сквозь мутную завесу увидел ровный ряд волков, стоящих на противоположном конце поляны. Середину держал вожак, очень крупный и массивный самец с лобастой головой и широкой грудной клеткой. Он щерил пасть и тихо рычал, задирая губу к носу. Остальные молча ждали команды. Их было восемь. Наконец вожак оттолкнулся и поскакал к человеческой добыче, распарывая нетронутое снежное полотно. Семерка двинулась за ним, на ходу выстраиваясь в косяк. Дерево мей вдруг задрожало и вспыхнуло насыщенно-ярким розовым огнем, переливаясь фиолетовыми всполохами. Батый опомнился и что есть мочи припустил следом за Учайкой.

Непривычный к передвижению пешком, он сразу же вспотел и задохнулся; сердце оглушительно стучало в висках, грудь с каждым вдохом разрезало жестким морозным воздухом, а глаза заливало едкой солью пота. Деревья бросались в лицо, ноги оступались, скользили и проваливались в ямки и колдобины. Жадное волчье дыхание слышалось где-то совсем рядом, слева, справа, пока еще не впереди, – впереди из-под пестрого подола шубы мелькали круглые аккуратные задники белых валенок, в которых неумоимо и привычно бежала Учайка, не

48

«Во всем доме – гилло магал! – сидела солнцева дева. Не терем златой – шингафа! – искала дева; не богатырь могуч из Новгорода подлетал; подлетал к деве огненный змей. Вай, вай, Анге Патяй!.. А броня на змее медяна да злата; а ширинки-от на нем жемчужены; а шлем-от на нем из красного уклада; а калена стрела из дедовского ларца. – Видихама гилло могал диллоф! – Из-за Хвалынского моря летел огненный змей, по синему морю во дальнюю деревушку, во терем к деве прилетал. – Шиялла шибулда кочилла барайчихо дойцофо кирайха дина! – Уж как наехал татарин огненный змей, уж он взял в солнцеву деву себе в жены, уж увез он ее во Золотую Орду бусурманскую, в далекие края бархадейные. – Уахама широфо, вай вай, Анге Патяй!..» (зарайск.). Анге Патяй – зарайская верховная богиня.

оскальзываясь, не проваливаясь и не заваливаясь набок на изгибах тропинки... «Хотя бы двух я должен зарезать до того, как они перегрызут мне горло», – подумал Батый, на бегу вытаскивая из-за пояса кинжал непослушной окаменевшей рукой. Лес внезапно расступился, и он увидел Рогнеду, бешено вращающую черными глазами и в страхе грызущую удила, чуя волчий запах. Она уже самостоятельно обошла камень и дожидалась их, чтобы тотчас тронуться в обратный путь. «Я всегда знал, что она умница», – обращаясь к Учайке, просипел Батый, из последних сил взбегая на склон. Она толкнула его в санки, а сама сняла шубу и трижды на нее плюнула, кинув под откос. Рогнеда дико заржала, крутя задранном хвостом и прижимая уши. Волки, хрипло рыча, уже выбирались на дорогу, тяжело выныривая из мягкого снега и взбивая снежную пыль, оседавшую на их спинах и мордах. «Да скорей же ты, кор-рова зарайская, чего телишься!» – со всей силы полоснув кобылу кнутом по крупу, гаркнул Батый на свою жену. Она уцепилась за сиденье, и уже на ходу он втянул ее внутрь. Рогнеда кинулась вскачь, унося жизнь от смерти, Батья отбросило в левый угол повозки и краем глаза он увидел, как лежавшая на снегу Учайкина енотовая шуба распалась на шесть или семь кусков, которые подпрыгнули и, ожив, превратились в маленьких круглых зверей, которые, встав на задние лапы, приготовились то ли нападать, то ли защищаться. Через мгновение на дороге, визжа и рыча, уже бурлила яростная драка, мелькавшая ощеренными пастями и безумными желтыми глазами. Предводитель стаи все-таки вырвался из общей кучи и, кинувшись вдогонку, добрался до задних ног кобылы, норовя прыгнуть ей под брюхо и вцепиться в нежную плоть живота. Какое-то время они скакали рядом, а потом Батый прицелился и, преодолевая боль в руке, от которой кружилась голова, с оттягом ударил хлыстом по волчьей голове. Плеть несколько раз обвилась вокруг шеи зверя; он кубарем отлетел на обочину, тяжестью своей туши вырвав кнут из рук хана. Учайка торжествующе засмеялась и, обвив руками шею Батья, прижалась горячими, обжигающими губами куда-то к его уху. Ошалевшая от ужаса Рогнеда каким-то чудом наддала еще и словно полетела над белой дорогой.

Успокоилась она, только доведя их до деревни: гнедая шкура кобылицы от пота потемнела до вороного цвета, по её крупу стекало мыло, а с удил, поранивших губы, на снег капала розовая пенная слюна. К ним кинулся истомившийся за это время Ульдемирян, суетливо помогая Батью выбраться из саней:

– Слава небесам, ты жив, о Ослепительный!.. – недобро косясь на Учайку, приговаривал он, сгибаясь в бесчисленных мелких поклонах, будто китайский болванчик. – Как можно было подвергать жизнь джихангира опасностям из-за легкомысленных капризов какой-то дикарки? Ты забываешь, что без тебя Орда станет слепым всадником, не видящим дороги. Хвала небесам, ты вернулся невредимым. Позволь твоему верному рабу поцеловать твою руку от избытка счастья... Какой перстень, о Ослепительный!.. Твои богатства неизмеримы, но такого я среди них еще не видал...

Выдернув свою правую руку из цепких лап Ульдемиряна, Батый увидел, что на его безымянном пальце вместо красной нитки был надет широкий золотой перстень, переливающийся блеском зимнего полуденного солнца. В середину его был уложен крупный молочно-голубой сапфир, ограненный в форме месяца. Перстень сидел ровно, твердо и плотно, точно по размеру пальца. Никаких болей в руке не было. «Значит, у нее солнце», – подумал Батый.

Учайкино кольцо, действительно, оказалось с желтым круглым выпуклым топазом, крепившимся к серебряной основе с помощью лучей, на которые по краю камня были насажены мелкие капли алмазов. Батый рассмотрел его уже после свадьбы, в постели, куда она безмятежно пришла, освободив голову от тяжелого кораллового шлема, а лицо – от росписи разноцветных красок. Взглянув на него влажным голубым взглядом, она без стеснения и стыда скинула шелковый халат, буднично легла рядом с ним и, запустив ладонь в его волосы, принялась перебирать пряди между пальцев. Батый перехватил ее руку и долго смотрел на маленькое солнце, в середине которого сменяли друг друга отблески желтого, золотистого, оранжевого и

светло-коричневого огоньков. Затем он сел на ложе и рывком раздвинул ей ноги, но она и тут не испугалась, спокойно позволяя джихангиру любоваться на свою нежно-розовую, вытянутую красоту с ровными, аккуратно сложенными, влажными лепестками, сверху поросшими мягким светлым курчавым пушком, прикрывавшими узкий вход в великий предел Тай Цзи, над которым в гармонии сочленений и тычинок располагалось маленькое рыльце пестика. И хотя цветы его шести жен и бесчисленных наложниц были, возможно, ничуть не хуже Учайкиного, но от вида ее цветка хану вдруг стало сладко и жутко, и он задрожал от внутренней дрожи страсти, вонзившейся в душу, словно стрела. Чувствуя, как беспрестанно крепчает, твердеет и расширяется, Батый склонился над небосводом цветка мей и прикоснулся губами к пестику, втягивая в себя дневное светило Тай Янг и ночное светило Ю Лянг, а также вода языком по звездам дерева, земли, неба, и золотого металла Муксинг, Туксинг, Тянь Ван Синг и Йинсинг. Но звезда короля ада Минг Ван Синг ждала его внутри, и он пошел к ее огню только после того, как довел свою жену до пульсирующего в бедренных артериях затмения сладострастия и в порыве нетерпения она положила свои пальцы ему на уста, призывая убрать караулы и посты, соединив короля с его адской звездой. Эту звезду до него, действительно, никто не видел, она была нетронута и запечатана крепкой печатью, после снятия которой шкура барса, где они возлежали, оказалась безнадежно испорчена, ибо на нее вылилось столько крови, словно барс погиб, истекая кровью от ран, нанесенных ему в схватке с тремя тиграми. Утром Батый выкинул убитого в аду барса за порог юрты, и весь следующий короткий зимний день нукеры с привистами и гиканьем таскали эту окровавленную шкуру на пике, показывая ее всем отрядам и выкрикивая славу великому воину и доблестному мужу, так славно распечатавшему сундучок женой чести, что для супруга дороже золота.

С тех пор по всему пути на Юрюзань он не отпускал ее от себя: ему почти физически было необходимо, чтобы Учайка находилось рядом, – пятнадцати минут ее отсутствия хватало, чтобы хан становился рассеян, задумчив и не слышал слов собеседника. Днем он следил, как она учится ездить верхом на Рогнеде, добросовестно разворачивая плечи и держа спину прямо, как ест вареную баранину, смешно вытягивая губы и дуя на горячие куски мяса, как медленно повторяет за Туруканом татарские слова и залиvisto смеется сама над собой, как расчесывает волосы, наклоняя голову так, что они льются вбок светлой волной, закрывая правую грудь и доходя до бедра, а ночью по два-три раза наблюдая, как меняется цвет ее глаз перед тем, как он начнет загонять короля в ад, и после того – от бирюзового с редкими изумрудными вкрапинами до темно-серого, стального цвета с синим ободком радужного круга. Иногда он даже будил ее ночью, чтобы проверить, насколько и в какую сторону изменился цвет.

Но сейчас она проснулась сама, почувяв напряжение мужа, и, спросонья шурясь и шмыгая носом, стала вглядываться в него припухшими от недолгого, но крепкого сна глазами цвета чистого лазоревое яхонта, камня, тревоги с чела изгоняющего, страхи отгоняющего, спокойствие, честность, милосердие и душевность прибавляющего. Батый погладил ее по спутавшимся волосам.

– Мин теш кюрдем, – негромко сказал он, прижимая ее голову к своей груди и вдыхая уже ставший привычным цветочный запах. – Мин сина аны сейлярмен, кайчан син эйрянрсен мине аннарга⁴⁹.

– Мон содаса. Тон сонтць весе валске несак,⁵⁰ – так же тихо отозвалась она, снова быстро засыпая, но потом вдруг встрепенулась и, выбравшись из-под руки хана, со спрятанной улыбкой прошептала выученные за пару недель замужней жизни слова, подставляя ему свои спелые вишневые губы, – эйде убешиек...⁵¹

49 Мне приснился сон. Я расскажу тебе его, когда ты научишься меня понимать (тат.).

50 Я знаю. Ты увидишь все сам завтра (зарайск.).

51 Давай поцелуемся (тат.).

* * *

Они, конечно же, поцеловались, сначала отстраненно и сдержанно, чуть застенчиво, отходя от случившейся ссоры и вспоминая друг друга на ощупь, запах и вкус, робко прикасаясь губами к губам. Но услужливая память, как и раньше, выдернула из глубин все, что требовалось, разомкнув оковы стеснения, так что через полторы минуты они уж стояли, слившись в тесном объятии и, не обращая внимания на окружающих, самозабвенно совершенствовались в искусстве поцелуя, с той ласковой страстью, в которой смешивается слюна, язык ощупывает зубы, и удары чужого сердца доходят до твоих ребер, – все по-взрослому, без обмана у волшебника Сулеймана. Кавказский кружок не замедлил откликнуться на такое неприличное нарушение правил поведения в общественных местах, – кто-то присвистнул, кто-то прицокнул, кто-то ревниво промычал «У-у-у!..», затем воцарилась хрупкая тишина, а после самый горячий из джигитов не выдержал и с громкой воинственностью спросил якобы в пространство, не касающееся Валентины и Спутника: «Ты кто такой? Давай, до свидания!..» Модная песенка как нельзя удачнее выразила суть противостояния, так что остальные горцы дружно подхватили нехитрый припев, для усиления музыкальности барабана по столу ладонями: «А ты кто такой? – Давай, до свидания!..»

Спутник отреагировал на такие наезды, как и положено активному альфа-самцу, закаленному в боях хулиганской юности, и, наглядно демонстрируя, что русские не сдаются, после первой не закусывают и умеют махать шашкой не хуже злых чеченов, зажал Валентину так, что у нее хрустнули шейные позвонки и она, невольно испугавшись за целостность своих костей, принялась вырываться из его объятий. Наконец они расцепились и под барабанный бой, запыхавшиеся и красные, гордо проследовали к дверям заведения. «Давай, до свидания!..» – насмешливо бросил им вдогонку зачинщик музыкальной паузы. Распаленный коньяком и поцелуями Спутник уже было развернулся, чтобы идти выяснять отношения, но Валентина, совершенно не желавшая ни скандалов, но мордобоя, до боли в ногтях вцепилась в рукав его костюма и, шипя «Идем, идем!», увлекла за собой на улицу. Он взглянул на нее темными, сузившимися от бешенства глазами, ясно выдававшими примеси татарских кровей, и она уже не первый раз удивилась, как быстро слетает с него литературная интеллигентность, обнажая древнюю мужскую агрессию и готовность защищать свое право и дело кулаками. «Ладно... давай... или давай, или до свидания..» – хрипло пробормотал он, процеживая накипь невыплеснутого гнева, снова притянул ее к себе и принялся доцеловывать, растирая ей щеки трехдневной щетиной.

От воспоминаний о вчерашнем дне Валентина улыбнулась и невольно провела тыльной стороной ладони по щекам и губам, стараясь не только мыслями, но и кожей поймать и вернуть это ощущение мужской небритости, заставляющей нежную плоть наливаться свежей горячей кровью. Щеки, конечно, уже остыли, но губы были еще распухшими от неумеренных поцелуев, затвердевшими под тонкой пленкой страсти. Она сильно и плотно сжала пальцами левой руки белый фарфор кофейной чашки и чуть вслух не засмеялась от радости, вдруг беспричинно овладевшей ею.

– Давай, до свидания!.. – рявкнул вдруг за спиной разъяренный мужской голос. От неожиданности Валентина подскочила на месте, рука, державшая чашку, нервно дрогнула, посуда вырвалась и, обиженно звякнув, боком завалилась на блюдце. Густая коричневая жидкость освобожденно полилась на стол, образовав лужу, устремившуюся к краю стола. Валентина поспешно вскочила, с грохотом отодвинув стул, и принялась размазывать кофейное озеро салфетками.

– Вали отсюда, чурка узкоглазая! Давай, я сказал, – до свидания! Здесь, что – вообще русской obsługi нет?!.. – злоба в голосе накалилась настолько, что у Валентины даже сжались пальцы на ногах. «Не оборачивайся», – сказала она себе и, разумеется, обернулась посмотреть на скандалиста.

Скандалил мужчина лет пятидесяти с небольшим, сидевший сзади, через два свободных столика. Перед ним с опущенными глазами виновато стояла официантка казахско-туркменской внешности, какими были заполнены московские кофейни. Некоторые говорили по-русски настолько своеобразно, что Валентина не сразу понимала эту интонационно смазанную речь. Неизвестно, в чем провинилась перед ним данная Джамиля, но посетитель неистовствовал так, словно она вылила ему на брюки чайник свежей заварки. Его холеное лицо с крупным, несколько тяжеловатым носом и сытыми, выпяченными вперед губами, побагровело, щеки тряслись, а близко посаженные глаза под взлохмаченными, уже поседевшими бровями впивались в несчастную, как сверла высокооборотистой дрели в хлипкую гипсокартоновую стену. Сидевшая спиной к Валентине женщина, в которой по съездившемуся затылку сразу угадывалась жена деспота, попыталась было успокоить тирана, робко дотянувшись до сжатой в кулак руки темно-малиновыми кончиками отлакированных ногтей и прошелестев «Володечка...», но этот слабый жест лишь еще больше распалил агрессора. Он отшвырнул женину ручку и с наслаждением кинулся в атаку, словно синьор Помидор на безответного дядюшку Тыкву:

– Черно*опые за*бали, – не стесняясь в выражениях, орал Помидор, – везде эти с*анные азиаты, куда ни придешь, тупые, наглые, вонючие, пи*дите тут на своем языке во всю глотку, русской речи не слышно уже, живем, как в кишлаке! Ээээ, меее, ара... Убить, *лять!..

Валентина почувствовала, что нервы ее, как струны, натягиваются все туже и туже на какие-то завинчивающиеся колышки, что глаза раскрываются больше и больше, что пальцы на руках и ногах нервно движутся, что внутри что-то давит дыханье и что все образы и звуки в этом колеблющемся полумраке с необычайной яркостью поражают ее. Вероятно, так же чувствовала себя и Джамиля, которая покорно стояла перед всегда правым клиентом, все также глядя в пол и смиренно выслушивая отборную брань. Круглое восточное лицо ее словно закаменело в буддийской отрешенной неподвижности, приобретя болезненный, бледно-восковой оттенок. Скорее всего, только так и возможно было не захлебнуться в этом потоке словесных помоев и нечистот, – выйти в астрал и плавать там веселой рыбкой, уворачиваясь от токсичных тяжелых металлов, пестицидов, нитратов, фосфатов, радиоактивных отходов и навозной жижи, пока голос сильных мира сего кричит что-то непонятное над ухом твоего тела. Валентина самой случалось выходить на эту орбиту, – последний раз она прогуливалась в тех широтах, когда Елисей пошел учиться в первый класс. Они куда-то ехали с ним в метро, и напротив них сел растрепанный седой винский старик, едко пахнущий смесью давно немывтого тела, ввевшегося в одежду табака и устоявшегося перегара. Услышав русскую речь, он встрепенулся, как старый бойцовый петух, глаза его загорелись сумасшедше-радостным черным огоньком, он жадно открыл рот с прореженными пеньками желто-черных зубов и, вперив взгляд прямо в Елисея, сипло гаркнул: «*Ryssä paska!*...»⁵² Звук отчетливо раскатился по всему вагону, в котором по своим делам молчаливо и культурно ехали воспитанные винны и послушные законам страны эмигранты. Елисей, тонко-звонким детским голоском просвещавший ее о том, что Плутон убрали из планет, уже давно убрали, а ты знала этого, ты этого, что, не знала, ма-ам! – осекся и начал стыдливо рассматривать развязавшиеся шнурки на кроссовках. Валентина не сомневалась, что его уже в детском саду просветили, кто такие *ryssä*⁵³. Поезд методично пересчитывал шпалы. «Ах ты, старый хрыч... – с тоской подумала она, – заткнул бы ты свой воню-

⁵² С*анные русские (винск.).

⁵³ Русские – оскорбительное (винск.).

чий фонтан...» Но дед, разумеется, молчать не собирался, решив, видимо, вывалить все, что накопилось с годами.

– Ryssä paska, mä sanoin⁵⁴, – закаркал он, мелко притоптывая правой ногой в стоптанном, вытертом до серого цвета древнем ботинке. – Mä vihaan vitun ryssiä ja teiän vitun Venäjää! Mun iskä ampui sodassa viiskyt ryssän kommunistia. Juuri viiskyt perkele saatana, kaikki lehdet julkaistivat siitä uroteosta!⁵⁵

Из полубеззубого старческого рта летели брызги слюны, пальцы на синюшных руках ходили ходуном то ли от старческого тремора, то ли от воодушевления, то ли от алкоголизма, из всклокоченных седых волос на воротник синей куртки сыпалась перхоть. Тем не менее, Валентина еще пыталась смотреть ему в лицо, в надежде, что непотворение злу насилеием восторжествует. Потом, осознав тщетность своих надежд, перевела взгляд на сына и решила абстрагироваться, рассматривая завитки его волнистых льняных волос. И только после того, как Елисей, услышав о пятидесяти убитых, взглянул на безумца с доверчивым ужасом, как Танечка и Ванечка на Бармалея, бросающего доктора Айболита в костер, она поняла, что надо спасаться. Поезд как раз подъехал к станции. «Kulosaaari», – возгласила эмпатическая виртуальная бортпроводница. Она схватила ребенка за руку и поволокла к дверям: «Выходим, выходим, не слушай его, он пьяный, он больной...» Старик не обратил внимания на их бегство, продолжая вещать о боевом героизме своего отца Гарри Поттеру, который смотрел на него сквозь круглые очки с рекламного листа внимательно и бескомпромиссно, словно сотрудник органов спецслужб по борьбе со сказочными злодеями. Винские крики о доблестях, о подвигах, о славе были слышны на платформе даже после того, как поезд закрыл двери и тронулся дальше.

На гневные вопли Помидора, перепуганно стуча шпильками, прибежала администраторша, высокая точеная блондинка в черной юбке-карандашике, и, заслонив косорукую растяпу модельной фигурой, принялась извиняюще улыбаться перед гневным синьором, который, похоже, не первый раз показывал здесь такую тарантеллу. Судя по децибеллам истерики, ребята ждали неплохие чаевые. Валентина вытащила из кошелька деньги, положила их на кофейно-салфеточное болото и, подхватив сумку, двинулась к выходу, не дожидаясь счетов и расчетов. В этот же миг Джамия вышла из астрала и направилась в противоположную сторону, к кухне. Они поравнялись и прощально посмотрели друг на друга. В черных глазах официантки перекатывалась крупная и чистая бриллиантовая слеза, и Валентине мучительно захотелось сделать шаг и погладить ее по голове, прижавшись своей европейской щекой к ее азиатской щеке.

«Иди ко мне, моя горемычная туркменочка, – мысленно позвала она Джамию, – иди ко мне, моя лунолика сестра по эмигрантской юдоли, приди, я обниму тебя и утешу, ибо никто не поймет страданий чужестранца лучше, чем другой такой же чужестранец. Ели деды и прадеды наши кислый виноград, а оскомины сейчас на губах наших. Занесло нас с тобой в дальнюю сторонку, во чужой дом, и жуем мы там свой кусок, озираючись, словно нахлебники, хоть и трудимся в поте лица своего. Нет нам приюта среди тех, с кем живем мы рядом, и никогда не стать нам такими же, как они, не разорвать цепи национальной идентичности и языковой отсталости, замыкающей уста наши в стрессовой ситуации на тяжелый амбарный замок, ибо пока мы с тобой сформулируем свои оправдательные слова, вытаскивая их из глубоких карманов, нам уж десять раз ответят обвинением. Не судьба нам оправдаться, ведь у обидчиков наших есть рука правая, а у нас-то обе руки – левые, им-то язык мамки да няньки с детства подвесили, а мы то им шевелить начали, уж когда детей нарожали. И лежит язык во рту нашем инофонном, толст да неуклюж, а как ворочаться начинает, то делает ошибки позор-

⁵⁴ С*анные русские, я сказал (винск.).

⁵⁵ Ненавижу е*анных русских и вашу е*анную Россию! Мой отец застрелил на войне пятьдесят русских коммунистов. Именно пятьдесят, черт побори, все газеты писали об этом подвиге (винск.).

ные, от которых потом стыд в краску вгоняет. И как ни идем мы вперед, как ни развиваемся, а все страдаем от нехватки языковых средств и недостатка времени для восприятия речи и говорения, мучимся от ощущения неправильности собственных высказываний и подозреваем, что собеседник наш, *native speaker*⁵⁶, не понимает нас. Смотрим мы на собеседника нашего и думаем: блажен он, ибо хватает ему в жизни его лексических средств, – и существительных, и прилагательных, и глаголов во всех морфологических формах их! У нас же с тобой с существительными худо, с прилагательными бедно, а с глаголами и вовсе так, что без слез не взглянешь, – только обнять да заплакать...

А все потому, Джамия, все потому, что глаголы запоминаются хуже существительных, я даже читала одну очень толковую научную статью, объясняющую данный феномен: глаголы трудны, поскольку сочетают в себе информацию о пути, цели и манере действия или движения, – видишь, как сложно! И ведь эта теория права, – мы с тобой не знаем огромного числа глаголов, хоть и стараемся угадывать их по ситуации. Не знаем, как будет, например, потрошить, расшатывать, задавить, пробивать, скатываться, подползать или переваливаться, – ты не знаешь по-русски, а я по-вински. Мы не знаем также глагола раскраснеться, мы будем долго и нескладно говорить, что вот, он стал совсем красный, будем мямлить и путаться в объяснениях, а стоящие рядом носители языка спокойно, быстро и уверенно вынут этот глагол из своей памяти и со снисходительной усмешкой подскажут нам его. А может, и не подскажут, может, скривятся и презрительно бросят: Понаехали тут! Со свиным рылом в наш калашный ряд пролезть пытаешься?.. Не сидится вам спокойно в своей Тмутаракани!.. А мы на эти колкие фразы смущенно отойдем в сторону, чтобы не занимать их жизненное пространство, данное им по праву рождения, как монарху с его первого визгливого послеродового крика дается единоличная власть над тысячами и миллионами тысяч.

Оставим же их, сестрица, оставим этих людей, жестокосердых и жестоковыйных, наблюдающих за каждым нашим грамматическим промахом! Уйдем от них, моя туркменская сестра! Но куда ж пойти нам, где сможем мы спокойно присесть и перевести наш загнанный дух? Я знаю, куда мы пойдем, сестра моя Джамия, знаю, где найдем мы с тобой пристанище, – мы отправимся в библиотеку, мы устремимся к этому хранилищу знаний, где работают приветливые образованные тетушки, не все, конечно, но остались там и такие. Мы пойдем на эти привольные луга, где пахнет пылью и древесным жучком, мы отыщем с тобой толковые словари в их многих томах, мы откроем их потемневшие страницы и погрузимся в пучины лексикона: ты – русского, а я – винского, – мы сядем в тени под дубок и начнем ловить и вылавливать неизвестные нам глаголы! Будем следить за ними и ловить их, а следить надо внимательно, ибо шустры глаголы, ловки и юрки, и проворны, словно мелкие хитрые ящерки, так что дело это совсем непростое. Поймав же глагол, схватим мы его не за хвост, а за шею, возьмем мы его и будем тем глаголом жечь и прижигать жестокие зачерствевшие от тяжестей бытия сердца носителей языка, тех, кто корит нас и язвит нас, и смеется над нами за то, что мы путаем употребление простого и сложного прошедшего времени или видовые категории.

Долго будем мы сидеть в тени дубовой, замерзнув от прохлады, ибо библиотеки, как всегда, отапливаются весьма скверно, по остаточному принципу, и когда терпение наше уже почти истощится и готовы мы будем махнуть озябшей рукой и идти по своим делам, робко прокрадется в густой траве глагол *милосердствовать*, относящийся к чрезвычайно редкому, почти вымерший виду, занесенному в Красную книгу. В девятнадцатом веке они еще были распространены, но за двадцатый были истреблены почти полностью. А поскольку глаголы эти в неволе не размножаются, то встретить их в естественной среде обитания считается наивысшей удачей! От такого невероятного везения мы затаим дыхание и замерем, чтобы не спугнуть боязливый трепещущий глагол, который, поводя дымчатыми ушками и меняя цвет то на голубой

в белых кругах, то на сиреневый в розовых неровных полосках, то на салатный в едва заметную серую клеточку, начнет осторожно шуршать по траве, пробираясь мимо нас. Секунда... вторая... третья... еще чуть-чуть... Хватай его, сестрица!

И вот уж он бьется у нас в руках, жалобно пищит, отчаянно дрожит, боясь, что мы сдерем с него живьем ценную шкурку, выбросив шуплое ободранное тельце на помойку. Но мы не делаем ему зла, правда, Джамиля? Мы возьмем глагол *милосердствовать*, подойдем к клиенту, облившему тебя сегодня помоями с головы до пят, и прижжем этим глаголом его холодное каменное сердце, чтобы вышли из него ледяные осколки и иглы, чтобы оно застучало сильнее, став чутким и трепетным, как в те далекие года, когда Володечке было всего восемь лет и он давал прокатиться на своем велосипеде всем ребятам со двора. «Посмотри, Володечка, – скажем мы ему, – ведь этот милый добрый мальчик, жалеющий всех калек и бездомных попрошайцев, – ведь это же ты! Что же стало с тобой? Как превратился ты в монстра, изрыгающего скверну изо рта своего, который скоро станет пастью? Опомнись, человек! Почто обижаешь ты и без того униженных и оскорбленных? Что привело тебя в гнев столь яростный? Говоришь, что в половине девятого утра узнал, что генеральный директор купил сыну новый Лампоршини? Что любовница, покладисто соглашавшаяся со всеми твоими прихотями целых пять лет, вдруг взбрыкнула и послала тебя на те самые три буквы, обозвав напоследок неудачником и лохом, из-за того, что ты попросил ее подождать с квартирой месяца три-четыре? Что тендер на госзаказ из-под самого носа ушел к другой фирме, посулившей главе департамента более жирный откат? Думаешь, что потеря тендера горше, чем туркменская слеза? Говоришь, что тендер был на миллионы долларов, а у слезы и цены-то нет? Обещаешь в следующий раз дать этой туркменке двойные чаевые, чтоб морду косоглазую не кривила? Да, с тобой, Володечка, больше возни, чем представлялось. Придется прижечь твое сердце глаголом еще раз. Дай-ка мне, Джамиля, ты пока еще не научилась. Надо стараться попасть прямо в сердечную мышцу, точно в миокард.

Ну вот, получилось, подействовало наконец-то! Смотри, сестрица, какой наш Володечка стал молодец: побледнел, за грудь схватился, рот разевает, как рыба на берегу, от нехватки воздуха, и пот по бледному челу струится холодными ручьями, – замечательно как вспотел-то! Сейчас должна начаться тошнота, – ну, точно, – блюет, вот он – оmlет по-французски с луком-пореем. Потерпи, родной, сейчас боли в области сердца и за грудиной станут еще более интенсивными, будет резать, как кинжалом, начнет жечь в спине, в левой лопатке, словно ее схватили раскаленными щипцами, шее, даже в челюсти, – да, да, даже зубы должны зануть, правильно. А теперь покажется, что задыхаешься, будто придавили двухтонной плитой, все завертится перед глазами от сильного головокружения, станет холодно, потому что температура резко подскочит до тридцати восьми с половиной. Все, – можешь терять сознание. Готово, Джамиля».

Помидор вцепился растопыренными белыми пальцами в край стола, скребя по гладкой поверхности посиневшими ногтями, и, выпучив глаза, словно рыба-телескоп, прохрипел, медленно заваливаясь набок: «Тамара... скорую... быстрее, дура... умираю...» Тамара, даже не вскрикнув, тупо смотрела на него, за долгие годы совместной жизни разучившись воспринимать команды на сниженных тонах. Потом туловище ее грозного мужа обмякло и плюхнулось на чисто протертый пол из черного ламината, блестящего глубинами бездны. Голова попала прямо на туфли администраторши, и от удара челюсти клацнули так, словно Володечка решил сожрать очаровательную халдейшу, начав с ее ножек. Она дернулась и застыла, с ужасом рассматривая распластанное тело. «Скорую вызывайте, – подойдя к ней, сказала Валентина. – Похоже, инфаркт. А если обширный, то помереть может запросто. Если есть нитроглицерин, суньте ему под язык таблетку». Блондинка вытянула тонкий носик, вслушиваясь в ее слова, а потом быстро-быстро закивала головой, захлопав себя ладошками по бокам в поиске телефона. Видимо, работала она в сетях общественного питания еще недолго, и это было ее первое столкновение с тем, что клиент может взять и очокуриться, не успев расплатиться и выйти за

порог заведения. К бесчувственному Володечке орлицей кинулась Джамиля: встав на колени, она принялась разворачивать грузное тело, расстегивать пуговицы на рубашке и распоясывать туго затянутый ремень. Валентина переступила через вытянутые ноги в задравшихся штанинах мышинового цвета и решительно направилась к двери: давно пора было уходить. Все происходящее за ее спиной отражалось в большом квадратном зеркале, висевшем на стене рядом со стеклянной входной дверью, словно ролик социальной рекламы, демонстрирующийся перед показом боевика: «При отсутствии сознания, дыхания, и пульса больного следует положить на пол и незамедлительно приступить к реанимационным мероприятиям. Речь идет о непрямом массаже сердца, который возможно проводить только на твердой ровной поверхности, и искусственном дыхании. Посмотрите, как это делает Джамиля Алтынбаева: пятнадцать надавливаний на грудь перекрестно сложенными ладонями, затем два вдоха и выдоха. Если пульс не появился, необходимо повторить спасательные действия». Дверь закрылась и вытолкнула Валентину на Цветной бульвар, загораживая маленькую трагедию тонированными стеклами дверей. Оставался какой-то неприятный осадок от того, что она покинула полумертвого (или полуживого?) человека, но, с другой стороны, помочь ему было уже не в ее силах. «Кцара яди м-леошиа»,⁵⁷ – как с важным видом говаривал Шурик. – «Коротка длань, чтобы принести избавление». В сложных ситуациях он любил вернуть какую-нибудь фразочку на иврите, – это, как подозревала Валентина, придавало ему большей уверенности и авторитета в своих собственных глазах.

Воспоминание о муже, оставленном в Винляндии, было неожиданным и удручающим. И нужно же было ее мозгу попугайски запомнить этот набор звуков, чтобы испортить такой нежный полдень с солнцем, плывущим прямо над головой по синему-синему небу?! Вернее, Валентина, конечно, не забывала про свои семейные неурядицы, но за дни путешествий тень Шурика размылась и потеряла четкие очертания; сейчас же всплывшая в голове ивритская пословица как нельзя некстати напомнила о том, что возвращение не за горами и несет с собой необходимость коренных переломов и горьких решений, всегда страшщих простирающейся за ними неизвестностью и одиночеством. Она пошла вперед, ориентируясь на торчащую в начале бульвара колонну и неподкупным взглядом рассматривая незнакомых прохожих, шагающих мимо нее и ей навстречу. Все они как-то враз стали вдруг ей противны; даже разнообразие походок, легких и стремительно-молодых или степенных, но тем не менее подшаркивающих с какой-то веселостью, рождало в душе неопределенно-гадливое чувство. «Вот улицы, вот машины, вот дома, а на улицах, в машинах и домах все люди, люди, люди... И они счастливы, смеются, только я одна, как проклятая, никак не могу быть счастливой. Почему другие женщины умеют жить со своими мужьями, почему у меня ничего не получается? Разводится второй раз и оставаться одной в моем преддубежном возрасте – это хуже, чем броситься под поезд! – думала она, вспоминая острую, яйцеобразную голову Шурика с пухом пролысины на вытянутой вверх макушке. – Там-то раз – и отмучилась. А тут еще читать и читать эту книгу, исполненную тревог, обманов, горя и зла... И ведь следующей женщине он будет рассказывать обо мне, как о гадкой эгоистке, никогда никого не любившей, обманувшей все его благие чаяния и наставившей ему рога. И если меня спросят, я не смогу сказать, что это неправда. С формальной стороны это и, вправду, моя вина, а моя вина – она всем видна...»

Представив себе предстоящую после выезда за пределы Российской Федерации процедуру развода и то, сколько усилий придется затратить, чтобы выселить Шурика из квартиры, в которую он пришел три года назад, она даже коротко застонала, сморщив нос, как от боли. С другой стороны, она уже физически не могла слышать те нотации, которые муж начинал читать ей, сложив руки на груди, когда притворно спокойный голос через пять минут срывался на

57

עִשׂוּהַלֵּם יְדֵי הַרְצִק – Коротка длань, чтобы принести избавление (ивр.).

бешенные крики с такими проклятиями и ругательствами, каких она не слышала даже от пьяных зарайских работяг. Она живо вспомнила те интонации, с которыми Шурик принимался плести свою бесконечную демагогическую паутину: «Слу-ушай...», – и даже вздрогнула от отвращения. «Но возможно ли между нами какое-нибудь не счастье уже, а только не мученье? Нет и нет! – ответила она себе без малейшего колебания. – Невозможно! Мы жизнью расходимся, и я делаю его несчастье, он мое, и переделать ни его, ни меня нельзя. Все попытки были сделаны, винт свинтился. Надо платить за свои ошибки, не торгуясь. Я уж давно не люблю его. Впрочем, если расставлять все по местам, то моей любви, вероятно, и не было. А его закончилась. А где кончается любовь, там начинается ненависть».

Она остановилась посередине аллеи напротив цирка и стала разглядывать расставленные вокруг фонтана статуи лежащих, сидящих, стоящих и крутящихся на колесе клоунов, с которыми в обнимку фотографировались гуляющие. На огромном клоунском башмаке, как на бегемоте, сидели мама с дочкой, ненатурально улыбаясь в камеру папе, который активно их фотографировал. «Покажи модель, Дашенька!» – закричал он дочери. Девочка послушно встала и положила одну руку на изогнутое бедро, а другую запустила в жиденькие русые волосики, откиннутые назад. «Семь лет ребенку, а уже научили кривляться!» – ужаснулась Валентина. Клоуны, так же ненатурально разинув рты и выставив вперед круглые носы, натертые до медного блеска прикосновением множества пальцев, с удовольствием смотрели на это непотребство. Довольный отец червяком изгибался то вправо, то влево, выискивая удачный ракурс. Валентина с отвращением двинулась дальше, отыскивая оборвавшуюся мысль.

«О чем я думала?.. О ненависти: словно огненный шар, ненависть вокруг меня... А ведь всего три года назад он кричал, звоня посреди ночи своей маме в Сибироновск: «Мама! Я не видел таких, я таких еще не встречал! Она королева! Я чувствую себя рядом с ней королем! Я ее так люблю, мама, я так счастлив!» И мама с умильной слезой повторяла мне в трубку: «Шурочка так счастлив! Я так рада за вас, деточки мои!..» И что? Куда подевалась та подкупившая меня великая любовь, которая заставляла его смотреть на меня преданным взглядом, каким только псы смотрит на своих хозяев, готовые лизнуть руку, даже если рука забудет приласкать, даже если ударит. Он бегал за мной хвостом, был маленьким хорошеньким песиком, подкупавшим своей верностью, игривостью и ласковостью. Он звонил мне по десять раз на дню и от избытка чувств разговаривал сплошными уменьшительными формами: «Я купил для тебя кремик, дай пощупаю лобик, сделать тебе бутербродик, я помою посудку, осторожно, кисуля, там машинка едет». От их обилия мне казалось, будто я до тошноты объелась шоколада: ее хрупкие чувства погибли под нашествием деминутивов, – ха-ха!.. Потом щенок подрос, и выяснилось, что это не пес, а волчонок, а потом волчонок заматерел и превратился в волка, да не в обычного, а в оборотня, готового загрызть свою возлюбленную даже не за дело, а за помысел, и даже не за помысел, а лишь за возможность помысла, лишь за то, что возлюбленная его разговаривала с по телефону с другим мужчиной и смеялась, говоря с ним. А смеяться, по правилам, можно только речам оборотня. И смотреть только на него. И жить нормальной жизнью, жить, как все, бросив, наконец, все свои глупости, всю эту литературу, танцы, басейн, философские беседы, воспитывая своего невоспитанного сына, не уважающего старших, которые, между прочим, вынуждены за ним присматривать в ее отсутствие, поменяв мебель и посуду, нося бельевые гарнитуры и сделав искусственное оплодотворение, если не получается забеременеть обычным путем. А ты не стала ничего этого делать. Что ж тогда удивляешься ты окровавленным клыкам, раздирающим плоть твою? Ты сама довела его до ликантропии, и изменить этого было нельзя. Я не раз говорила ему, что он бессмысленно ревнив, и он сам иногда сознавался, что бессмысленно ревнив; но это было неправда. Он был не ревнив, а он был недоволен. Его любовь все делалась страстнее и себялюбивее, а моя все гасла и гасла, мне становилось с ним все скучнее и скучнее, и помочь этому было нельзя. У него все было во мне одной, и он требовал, чтоб я вся больше и больше отдавалась ему. А я все больше и больше

хотела хоть немного отойти от него в сторону, сначала на шаг, потом на два, потом на десять... До свадьбы мы еще как-то шли навстречу, а после стали неудержимо расходиться в разные стороны! Нельзя было выходить за него замуж, нельзя было лукавить перед самой собой, думая, что эмигрантский муж окажется надежнее винского, нельзя было жалеть его и играть в любовь, потакая удовлетворению его тщеславия, с которым он выставлял на одноклассниках свадебные фотографии: если у тебя в сорок пять лет нет ни высокой должности, ни недвижимости, ни крутой тачки, тебе остается похвастаться перед обществом только красавицей женой, которую за ее филологический ум даже ненадолго позвали в столичный университет писать диссертацию...»

Она наконец дошла до гранитного столпа, на верхушке которого возвышался воинственно потрясающий копьём архангел. «И что это?.. – скептически спросила Москву Валентина. – Наш ответ северной столице, чьи Куччи круче? Ни к чему хорошему такие подражания не ведут. Я тоже пыталась подражать той, кем я не была, и потерпела полное фиаско. Пыталась притворяться, что мне интересны бесконечные сериалы, которые Шурик смотрел каждый, каждый, каждый вечер, и через год поняла, что просто ненавижу этих Джонов и Шонов, американских симпатяг из Чикаго и Филадельфии, расследующих заковыристые серийные убийства или организующих очередной сногшибательный по изобретательности побег из тюрьмы. Выяснилось, что кроме сериалов и рассказов об обетованной жизни евреев в Израиле, которые я выслушала уже по пятому или шестому кругу, мне, в общем-то, не о чем разговаривать со своим мужем. Если б он мог быть для меня чем-нибудь большим, кроме партнера по постели, страстно, до животных стонов любящего мои ласки, мое тело; но он не мог и не хотел быть ничем другим. От этого я начала чувствовать к нему глухое, замаскированное отвращение, а он ко мне – злобу, и это не могло быть иначе. А если я, не любя его, из долга буду добра, нежна к нему, а того не будет, чего он хочет, – да это хуже в тысячу раз даже, чем злоба! Это ад. А это-то и есть... И мне гореть в моем аду, гореть в снегу, гореть на льду, гореть, наверное, до гроба; и, словно Лота из огня, Господь не выведет меня, и мы об этом знаем оба...»

Она остановилась, обнаружив, что незаметно для самой себя перешла дорогу и, свернув налево, поднялась на горку, дойдя до крепостной стены, окружавшей церковные строения. «Богородице-Рождественский ставропигиальный женский монастырь. Памятник архитектуры XVI-XVII веков», – сообщала прикрепленная на углу чугунная табличка. «На сей раз женский, – вспомнив Адраазара, усмехнулась Валентина. – Чтобы ни соблазнов, ни дурных мыслей, чтобы сразу стало понятно, что надо делать». Она медленно прошла вглубь тихой улицы, слыша, как с каждым шагом шум Трубной площади за спиной стирается, будто написанное на доске неверно решенное уравнение: постепенно исчезали А, В и С, плюсы и минусы, умножение и деление. Остался лишь знак равно, за которым стоял вечный Икс, и по условиям задачи к нему следовало подобрать правильные составляющие:

$$\dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots = X$$

Валентина задумчиво провела пальцами по прохладной узорной чугунной решетке главного входа, чувствуя какую-то смутную робость, будто бы за воротами притаился неведомый мир, полный загадочных обитателей и странных событий, но затем широко и размашисто перекрестилась, решительно, словно ныряя с головой в еще не прогретую озерную воду, перешагнула порожек, быстро перебежала через пустую площадку перед храмом и, легко поднявшись по довольно крутым ступенькам белого крыльца, вошла внутрь. Где-то далеко глухо и тяжело простучал по рельсам набирающий скорость поезд, и она успела удивиться невесть откуда взявшемуся звуку, потому что ни одного знакомого вокзала в этом районе не должно было быть. А может, все же был какой-то, о котором она не знала?..

* * *

После яркого уличного света там оказалось сумрачно, свежо, как-то пасмурно и абсолютно безмолвно. Ни смуты, ни вихрей, которых страшилась Валентина, – лишь белая тишина пустых голых стен, среди которых она стояла совершенно одна. В отличие от ущуповских монахов, московские матушки и сестры за новшествами и модерном не только не гнались, но как бы и вообще старались отодвинуть искусство от веры, – внутри не было ни росписи, ни орнаментов, ни позолоты, ни украшений, ни роскоши, ни изящества. Впрочем, может быть, храм готовили к ремонту, потому что левый придел, в котором, вероятно, совершались службы, был закрыт высокой, доходящей до потолка двустворчатой резной деревянной дверью; в пользовании прихожан оставалась небольшая квадратная площадка метров в двенадцать, плавно перетекающая в правый придел. Вообще, что-то было нарушено и во внутренней архитектуре этой церкви, и в ее интерьере: прямо напротив входа, посередине висела большая икона распятого Христа, хотя по правилам она должна была располагаться сбоку; получалось так, что прихожанин первым же своим взглядом соединялся не с воскресшим Иисусом, готовым перекрестить и праведника, и грешника, а с умирающим или даже уже умершим Божьим сыном. Как ни крути, получалось, что с вечной жизни акцент смещался на смерть.

Валентина внезапно поняла, что при каждом нечастом посещении церкви, к распятию она подходила в последнюю очередь. Опустив перед распятым глаза, с ощущением внутренней неловкости, подобной той, с которой проходишь мимо нищего, не оставляя ему подаяния, она перешла в правый придел, надеясь, что он окажется просторнее; но он был такой же небольшой, также с одной-единственной иконой, висящей на стене напротив окна. Здесь располагалась комната Богородицы.

Святая Дева была нарисована в полный рост, младенец Иисус, которого она держала на руках, не прижимался к матери, а серьезно смотрел на Валентину, сжимая в левой руке рукописный свиток, а правую подняв для крестного знамения. Пальцы были сложены не щепотью, а двуперстно, так что икона была еще дораскольничья, что подтверждали совершенно вытертые краски, – из всей палитры цветов на доске остались только коричневый, серый и черный, так что икона напоминала фотографию. Богородица же вообще на Валентину смотреть не желала, – настроение у нее было примерно такое же, как у самой Валентины десять минут назад; казалось, что люди со своими грехами уже так намозолили ей глаза, что не вызывали никакого сочувствия. Даже губы были сжаты упрямо и неумолимо: «Лучше б таким грешникам и вовсе не рождаться!» – будто хотела воскликнуть она. Несмотря на эту непримиримость, в лице ее не было старческой скорби, типичной для православной иконописи вплоть до XIX века; Эта Мария была энергичной молодой женщиной лет тридцати с крупным волевым подбородком, готовая смело защищать свое дитя от всех вольных и невольных обидчиков, иродов и иуд. Удивленная ее неприветливостью, Валентина перевела взгляд на младенца: младенец же, напротив, был старообразно серьезен, его высокий ленинский лоб еще более удлинялся ранними залысинами, а поперек горизонтально пролегли две недетские морщины, свидетельствовавшие о долгих размышлениях над путанными судьбами человечества. «Одигитрия», – внезапно вспомнила Валентина название этого типа икон.

Тем не менее, внутреннего контакта с Богородицей не получалось. Досадуя на отсутствие искреннего раскаяния, Валентина подумала, что свечки поставить все равно надо, пусть даже они будут воткнуты в подсвечник без ощущения духовной сопричастности к лону вселенной. Обернувшись ко входу, она обнаружила, что храм все же не был покинут без призора на волю Божию и не все сестры отправились в трапезную обедать. Между центральной площадкой и правым приделом, как и положено, была оборудована церковная лавочка, на которую она поначалу не обратила внимания. За прилавком, уставленным толстыми и тонкими книгами душеспасительного содержания в лубочно-ярких обложках, тихо сидела, перебирая в руках

четки, нахмуренная, бледная и блеклая монахиня лет пятидесяти, с усталым и даже несколько мизантропичным выражением лица и таким же усталым, изможденно-кислым взглядом, которым она, прищурясь, смотрела в лежавшую перед ней книгу большого формата. Погрузившись в чтение, она не обратила внимания на Валентину, приблизившуюся к прилавку. Увидев поставленные сбоку коробки со свечами разных размеров и цен, Валентина уже открыла рот с намерением попросить себе две свечки, но не успела, неожиданно наткнувшись взглядом на интригующее название – *Йога: путь к самому себе*. Путь к самому себе, который был наглядно продемонстрирован с помощью фотографии сидевшей в позе лотоса оптимистичной молодой барышни в лиловом гимнастическом купальнике, стоил триста рублей и соседствовал с *Беседами о кончине мира* справа и *Трезвомыслием* слева.

Удивившись, Валентина уже хотела было поинтересоваться, разрешается ли монашкам или послушницам заниматься йогой, но опять опоздала, поскольку к прилавку, выйдя из боковой двери с левой стороны, подошли две молодые сестры, деловито остановившиеся возле старшей монахини. Эти, видимо, пребывали еще на ступени послушничества, поскольку черные платочки на их головах лежали ровно, не возвышаясь холмиком камилавки, как у склонившейся над рукописью монахини, и были, скорее всего, инокинями, поскольку, как помнила Валентина, получение монашеского сана в церковной среде было делом таким же непростым и долгим, как и защита докторской диссертации в ученом мире. Одна из девиц радовала взор своей бодростью, хорошо выспавшейся и свежей, словно наливное яблочко, – ее жизненная энергия и молодая активность разлеталась на два метра вокруг, пробиваясь сквозь целомудрие власяницы и подрясника, призванных смирять плоть и укрощать страсти диавольские. Все движения сестры, однако, противореча смиренному облачению, были наполнены нетерпеливостью и какой-то спортивной порывистостью. – Сейчас, – по-секретарски кивнула она Валентине, блеснув красивыми зубами в легкой и уверенной, почти рекламной улыбке, – подождите минутку. Вторая послушница, впрочем, была более флегматична, и порывы плоти в ее круглой фигуре отсутствовали, а отудловатая физиономия с крепким курносом носом смотрела на мир добродушным взглядом по-бульдожьки опущенных книзу глаз. Но энергия товарки, как видно, тянула ее за собой, словно баржу на буксире.

– Матушка Илиодора, я сказала сестре Ольге, о чем вы говорили, – нежным невинным голосом рекла активная юная дева, и на ее ярких розовых губах заиграла извечная женская усмешка, полная потаенного змеиного яду и торжества отмщения обидчице. – Ну помните, матушка, вы тогда говорили?.. – нетерпеливо продолжила она, широко распахнув и без того большие выразительные глаза, и даже вытянула вперед носик в усердном намеке, не видя от наставницы никакой сиюминутной реакции.

Матушка Илиодора оторвалась от увесистого фолианта, который оказался не книгой, а тетрадь, где на жирно разлинованных строках теснились какие-то записи, взглянула на лукавую ябедницу из-под увесистых очков в избыточно-позолоченной оправе тяжелым каменным взглядом и ничего не ответила. В эту минуту она показалась Валентине удивительно похожей на ее старшую подругу и советчицу, набившую руку и оскомину на творческих склоках и дразгах, которая, зажав в зубах вечную сигарету и пуская в потолок клубы ментолового дыма, учила Валентину уму-разуму в общении с неуравновешенным писательским контингентом: «Не снисходи до них. Помни о сани. Негоже королеве с конюхом браниться». Так и не отреагировав на донос, матушка опустила голову и вновь погрузилась в изучение своего грессбуха. Энергичная послушница, не получив желаемого сочувствия и одобрения, скривила четко очерченный упрямый рот и метнула на стоявшую рядом товарку гневный взгляд, – помогай, мол, чего молчишь?.. Однако та была более проста и, как видно, не искушена в монастырских кознях, и смотрела на хитрую напарницу простодушным взглядом круглых карих глаз, хлопая длинными коровьими ресницами. Валентина прямо почувствовала, до чего, наверное, хочется уязвленной Божьей пионерке воскликнуть: «Чего уставилась, дурища?!» Однако же она муже-

ственно сдержалась, проглотила свое разочарование и смиренно обратилась к показательно занимавшейся важным делом Илиодоре: – Не будет ли чего, матушка? – Ничего, – сквозь зубы ответствовала та, – идите. Такая холодность окончательно добила искательницу справедливости; от отчаяния она даже закрутилась на месте, словно лиса, заведшая бегущего слишком далеко зайца, – встряхнула бедрами и несколько раз мелко переступила на месте, отчего подол ее подрясника заколыхался и поплыл черными кругами, а затем суетливо развернулась и направилась к главным дверям, искоса кинув на Валентину недоброежелательный взгляд, полный свежей обиды и горечи несбывшегося желания, – ты-то чего здесь топчешься попусту?.. Ее напарница не спеша поплыла за ней, слегка переваливаясь на ходу, как утка, и демонстрируя явные признаки плоскостопия, которые не могло скрыть даже длинное монашеское одеяние.

С любопытством посмотрев девам вослед, Валентина вспомнила, для чего подошла, и решительно протянула матушке купюру, на которую получила две невеликих-немалых свечки, сдачу и расплывчато-отвлеченный матушкин взгляд, в котором явственно читалась усталость от нескончаемого числа молящихся, ежедневно приносящих в храм свои судьбы с кривыми путями, испещренными колдобинами, мелкими ухабами и большими ямами.

Решив не обращать на матушкину неодобрительность внимания (видали мы климакс и пострашнее), Валентина развернулась и направилась к распятию, перед которым она всегда ставила свечи за упокой, перечисляя своих бабушек и дедушек, а также называя вспомнившиеся имена других родственников и знакомых, уже успевших отправиться в лучший из миров. Икона была широкой и длинной, не менее двух метров в высоту, так что Христос был изображен практически в человеческий рост. Темно-серый фон не был оживлен ни травкой на земле, ни облачками на небе, – небо, в общем-то, тоже отсутствовало, замазанное серой олифой. Только в подножии креста валялся небрежно брошенный череп со скрещенными костями: не влезай, убьет. «Раба божьего Леонтия», – перекрестившись, прошептала Валентина, внимательно глядя на фигуру Спасителя: тело было грязно-белого оттенка, а по сероватому лицу с запавшими глазницами катились ослепительно-яркие, почти алые капли крови. «Рабу божью Серафиму...» – руки Христа с резко прорисованными буграми напряженных перетянутых мышц были сильно и неестественно вывернуты, словно он заканчивал свою земную жизнь на дыбе. «Рабов Божьих Елизавету и Ивана...» – было что-то в этом распятии непривычное, противоречащее православным канонам, по которым Иисус обычно висел на кресте спокойно, будто задремав, а чаще даже и не висел, а словно стоял на подставочке, собираясь вскорости с нее же шагнуть прямо в Райские кущи, миновав снятие с креста и положение во гроб. Здесь же иконописец, откинув смирение, явно решил пронять молящегося физическими страданиями Божьего сына, превратив его в измученный синюшный труп: голова не держалась прямо, а безвольно свисала с правого плеча, волосы свисали параллельно наклоненному лицу, а самое главное, – губы, губы были приоткрыты!..

Забыв про дорогих сердцу покойников, Валентина начала перебирать в памяти все виденные в музеях и на репродукциях распятия, морща лоб от напряжения: Веласкес... Гойя... нет, раньше... Микеланджело... нет, конечно, Христос Микеланджело своим несмирным бунтарством всегда напоминал ей прикованного к скале Прометея... Фра Анджелико... Тинторетто... Крапах старший... да-да, что-то оттуда... Грюневальд... Ну, точно, Грюневальд. Алтарь в Кольмаре.

* * *

Они ездили туда с Шуриком три года назад, в июле, через две недели после свадьбы, воспользовавшись приглашением Валентиной университетской подружки Вики, которая настойчиво звала ее в гости каждый год в течение пяти лет. Можно сказать, получилось свадебное путешествие, тем более, что атмосфера тогда определению соответствовала. Шурик

был в самом расцвете своей пылкой любви, да и деньги, привезенные из Израиля, у него еще не закончились, мама в Сибироновске не хворала, рабочий день не урезан, а Елисей еще не успел достать своим разгильдяйством и невоспитанностью. Так что каждый день он обожающе смотрел на Валентину преданными карими глазами и провожал взглядом любое ее движение, как верный пес следит за малейшим хозяйским шорохом. «Я за тебя почку отдам, кисуля». – «Надеюсь, не придется, Шурик», – отшучивалась она. От такой силы любви Валентине порой становилось неловко, о чем она впопыхах попыталась поделиться с Викой, – впопыхах, поскольку наедине Шурик их практически не оставлял, что также вызывало некоторую досаду. «Ты заслужила это, дорогая!» – негодуяще, почти гневно воскликнула Вика, не поняв Валентининых сомнений, в искренней радости от того, что подруга наконец-то очутилась от первого замужества и обрела прочное семейное счастье, прекратив перебирать мужчин, как огурцы на базаре. Впрочем, костер Шуриковой ревности уже тогда начинал разгораться, неожиданно то там, то сям с треском вспыхивая мелкими бенгальскими огоньками: «О чем это вы так любезно беседовали?.. Почему ты с ним переписываешься?.. Позвони и скажи, что ты вышла замуж!» Одному человеку по роже я дал за то, что он ей подморгнул... Валентина старалась не обращать внимания на эти огненные стрелы, уворачиваясь от них то вправо, то влево.

Да нет, тогда все было, как говорится, окей. Шурик был любезен с Викторией и ее эльзасским семейством, Вика не утратила своей русскости, оставшись такой же круглой, шумной и решительной волжанкой, эльзасский ее муж за годы Виккиного владычества любви к русским не утратил, дети худо-бедно, но чирикали по-русски. Так что неделя прошла весьма задушевно, хотя, признаться, за семь дней, на каждый из которых приходилось знакомство с какой-либо местной достопримечательностью, Валентина так объелась средневековой Европой, что не смогла бы сказать, чем эльзасский Мюлуз, где жила Вика, отличается от немецкого Ростока, в который они с Шуриком приплыли в начале своего путешествия. На Валентинин дилетантский взгляд, отличий было мало: ратуша, площадь рядом с ратушей, на которой играет джазовый оркестрик и пьют пиво горожане, ряды сцепленных между собой трехэтажных домиков с острыми темными, вытянутыми вверх ребристыми крышами: светло-желтенькие домики, темно-желтенькие домики, ярко-желтенькие домики, между которыми были вставлены домики голубенькие и розовые. Немцы в растянутых майках и мятых джинсах. Французы в растянутых майках и мятых джинсах. Ах да, по Мюлузу текла темно-зеленая речка, а в Росток с моря задувал привычный пронзительный, забирающийся под мышки ветер. В этом отношении Мюлуз, безусловно, выигрывал, позволяя отдохнуть от суровой Балтики.

В Кольмар они выбрались уже перед отъездом: «Нельзя уехать из Эльзаса, не побывав в Унтерлинден!» – поправив очки и ткнув вверх назидательным перстом, объявила Вика. Шурику сакральное искусство, откровенно говоря, в пень не сдалось, но день надо было как-то проводить, так что поехали в Кольмар. Территория монастыря и сам музей в этот день оказались наводнены то ли корейцами, то ли китайцами, то ли японцами, а, может быть, сразу всеми представителями трех этих любознательных народов, деловито, с каким-то озабоченным видом сновавших мимо шедевров христианской живописи. Шурик слился из музея через пятнадцать минут, отправившись пить кофе в примузейную кафешку, а Валентина с Викторией еще около часа мужественно бродили среди «самурайцев», как с досадой обозвала восточных туристов Вика. Когда терпение у обоих уже было на исходе, самурайцы вдруг разом куда-то схлынули, вероятно, дружно отправившись то ли фотографировать виды, то ли обедать, то ли делать зарядку. «Скорей!.. Грюневальд в капелле!» – воскликнула Вика, стремительно потянув Валентину за собой. Они выбежали из отдела археологии и, свернув влево, залетели в капеллу, в центре которой стоял знаменитый алтарь: «Жемчужина Эльзасского средневековья», – с нескрываемой гордостью произнесла Вика. С такой же гордостью она рассказывала про своих детей: «Они по-французски говорят намного лучше, чем по-русски. Истинные фран-

цузы!» Капелла поразила Валентину своей пустынностью, а алтарь показался сперва несуразно огромным. К счастью, у Вики зазвонил телефон и она, бойко затрещав по-французски, убежала в сторону, оставив Валентину одну перед махиной распятия, которое постепенно начало заполнять ее свой непривычной мрачной тяжестью. Впрочем, тогда она толком не поняла своих чувств, поскольку через пять минут залился трелью и ее мобильный: истомившийся Шурик требовал закончить культурные вливания. Пришлось уйти. Но, тем не менее, соприкосновение с сакральным искусством не прошло даром, потому что в ту ночь Валентине приснился очень необычный сон, взбудораживший ее куда больше, чем секс с новоиспеченным супругом.

Во сне они с Шуриком плыли в маленькой узкой лодочке по широкой реке. Река была ярко-оранжевого цвета, а над водой поднимались клубы сизого пара. Видимо, местность была горная, потому что оба берега были заставлены валунами и усыпаны мелкими камнями, а бурное течение заворачивало речные волны в длинные, сердито пенящиеся гребешки. Плыли они сами по себе, безо всяких весел, ловко лавируя между бурунами. Внезапно, как это бывает только в снах, не делая никаких движений, Шурик выпал из лодки в воду и, мгновенно подхваченный течением, начал стремительно удаляться из виду. Валентина подумала, что надо бы поплыть и подобрать его, но не могла понять, в какую сторону двигаться. Оглядевшись, она вдруг заметила двух мужчин, стоявших друг напротив друга: один на левом берегу, другой на правом. За спинами обоих начинался лес, но за левым – черный и ночной, а за правым – молочно-белый, зимний. Оба они смотрели на Валентину, словно чего-то от нее ожидая; почувствовав это, она занервничала, не понимая, что им нужно. Лодка перестала двигаться вперед, перейдя на кругообразное движение по спирали, постепенно направляясь к центру воронки, горящему темным оранжевым огнем. Наконец правый поднял вверх обе руки и спросил, обращая свой вопрос к левому: «Когда же будет конец этих чудных происшествий?» Ничего не отвечая, левый полез в карман и стал показывать большие карточки с цифрами, как судья на футбольном матче: один... два... девять... ноль. На нуле лодка затряслась, и Валентина проснулась с мыслью о том, хватит ли ей сил доплыть до берега и к какому из берегов лучше плыть? Рядом вдохновенно храпел потерявшийся во сне Шурик, – видимо, от переливов его храпа лодка и задрожала. Валентина досадливо поморщилась, повернулась направо, потом налево, потом не выдержала и толкнула Шурика локтем в бок, попав в острое ребро, – тот, как всегда, спал с рукой, закинутой за голову. Он тонко, как-то по-куриному всхлипнул и грустно повернулся на бок. Сон, тем не менее, ушел, и Валентина принялась перебирать в памяти детали прошедшего дня.

«Ну, ладно! – не унывая, воскликнула Вика, когда они вышли в залитый летним солнцем двор монастыря. – Поедем в Изенгейм. От монастыря там, правда, уже мало что осталось, но зато сохранилась конюшня, где, говорят, Грюневальд работал над алтарем. Там сделали харчевню, так что заодно и поужинаем». Идею ужина Шурик воспринял с гораздо большим энтузиазмом, чем музейные перспективы.

«А почему он писал в конюшне?» – спросила Валентина, оглядывая огромное, метров на сто-девяносто, темноватое вытянутое пеналом помещение с рядом узких длинных окошек по правой стене, в которые наискосок падал свет уходящего на закат солнца. Они наконец-то разрешили кулинарные споры, в которых Шурик во что-бы то ни стало старался накормить Валентину улитками: «Я не могу их есть. В них кишки, набитые черт знает чем». – «Какие кишки, кисуля, их держат некормленными неделю!» – «Тем более не хочу несчастных тварей, погибших голодной смертью». – «Это деликатес!» – «Ну и прекрасно, ешь сам, а я возьму... что-нибудь более привычное». Во мнениях, наконец, сошлись на бордо. «Так почему в конюшне-то?..» – «Ну... вроде как он повздорил с приором...» – неуверенно растягивая слова, ответила Вика. – «А конюшня эта принадлежала хозяйке гостиницы, что стояла здесь рядом, только здания не сохранилось. Ну и рецептор, настоятель монастыря, который позвал Грюневальда

делать алтарь, снял у нее эту конюшню под мастерскую. Говорят, что когда он закончил работу, то они поженились. Кстати, его же звали не Грюневальд, ты читала? Доказали, что его настоящее имя – Готхард. Маттиус Готхард».

Это Валентина уже знала, – успела прочитать на медной табличке внизу алтаря. Маттиус Готхард по прозвищу Нитхард. Высокий, чуть рыжеватый немец с редкой мягкой бородкой, длинным, стремящимся к верхней губе носом и довольно широко расставленными небольшими глазами с задумчивым грустным взглядом. Они даже родились в один год, только Маттиус был на пятьсот лет старше. Шурик, выпив два бокала подряд, окончательно повеселел и, оседлав своего любимого конька, принялся вдохновенно рассказывать Вике о своей прекрасной жизни в земле обетованной. Вика, сдвинув брови и равномерно кивая головой, сосредоточенно собирала информацию, сравнивая эмигрантские доли. Валентина же, которой уже порядком наскучили эти повторения израильского прошлого, принялась разглядывать залу, радуясь тому, что самурайцев не посвятили в бытовые подробности создания жемчужины Эльзаса и ни взгляд, ни слух, ни фантазия не спотыкаются о дальневосточную экзотику. Алтарь, скорее всего, стоял там, у противоположной стены. Рядом с ним – козлы, раскладная лестница, подставки для эскизов, холстины и прочий художничий скарб, разложенный по трем столам. Посередине была печурка, чтобы помещение протапливалось равномерно, а рядом с ней кровать, – за дрова надо было платить из своего кармана, так что далеко отходить от тепла не имело смысла, а зимой он вообще подтаскивал свое дощатое жесткое ложе вплотную к печке, за что Магда его нещадно ругала: «Не приведи Бог вылетит уголек на покрывало, – сгорите, господин Готхард, так что косточек после не соберем!» – «Я уже сгорел от любви к одной жестокосердной польке, которая отказывается выйти замуж за художника, – обычно отвечал ей Маттиус. – Чем ей не угодили художники, Магда? Я получаю за свою работу весьма неплохо, прецептор не пожалел экипажа и лошадей, чтобы привезти меня в Изенгейм из Ашаффенбурга, перед этим два года выпрашивая у епископа Майнцкого разрешения выписать меня сюда. Что же надо этой ветренице, которая вертит мной уже третий год, как паяцем на веревочках, то одаривая меня своей милостью и допуская до себя, то отталкивая, по два месяца изводя насмешками и крутя хвостом перед всеми местными и проезжими! Тебя скоро станут в глаза называть шлюхой, постыдись хотя бы сына!.. Я же приехал сюда только из-за тебя, и ты это знаешь!» – «Пустите, Маттиус! – вырывалась из его объятий Магда. – Я вправе вести себя, как захочу, и отвечать буду лишь перед Господом Богом да покойным Тадеушем, мир его праху! И не приплетайте сюда моего сына, я воспитала его честным и добрым католиком». – «Ты ведьма, – тяжело дыша и сжимая кулаки, с ненавистью шептал Маттиус. – Я знал это уже шестнадцать лет назад. Тогда ты ловко улизнула от костра, выскочив замуж за этого эльзасского простофилю. О, лживая подлая славянская порода!» – «Позвольте вам напомнить, что это именно вы шестнадцать лет назад, будучи мужем своей жены, совратили невинную девушку, лишив ее чести». – «Я тебя не насиловал, ты знала, что я женат, и, тем не менее, согласилась». – «Что толку перетирать прошлое? – притворно вздыхала она. – Пойду лучше перетру посуду...»

Так они препирались у печки, рядом с кроватью, – где ж им было еще рассуждать об этих смутных постельных делах? К столу, который стоял в другом конце конюшни-мастерской, как раз там, где сидели сейчас Валентина, Шурик и Вика, Магда подходила редко, только когда выпадал какой-либо особенный повод с участием гостей. Впрочем, как раз пятьсот лет назад, когда художник закончил центральную часть первой разверстки, такой повод случился, так что Магда, переодевшаяся в выходное платье из темного, чернильно-синего бархата с окантовкой из беличьего меха, идущей по глубокому вырезу на груди, плечам и спине, сидела за грубым деревянным столом на изящном дубовом стуле с резной спинкой, принесенном из той части трактира, в которой изволили кушать лишь благородные господа. Для гостя, посаженного рядом с трактирщицей, был принесен второй стул из четырех. Маттиус сидел напротив на старом, скрипучем и колченогом табурете, при каждом его движении издававшим жалобный и

униженный стон. На столе стоял парадный графин с предорогим мальтийским вином, вокруг которого на блюдах лежали рыбные и сырные закуски, – день был пятничный, так что мясо в память Иисусовых страданий вкушать не дозволялось. Желая похвастаться своим поварским искусством перед гостем, Магда самолично спекла яблочную шарлотку, ловко обойдясь без яиц. Вообще, на угощение она не поскупилась, хотя и с годами становилась все прижимистой, не доверяя ключи от кладовой с припасами ни одной из служанок и время от времени проводя рукой по бедру, куда они спускались с искусно сплетенного кожаного пояса, застегнутого на талии. Гость же в этот день был не только почетный, но и знакомый с малолетства, а землячество, как известно, связывает прочнее железной цепи: на чужой сторонushке рад родной воронushке. Родным городом всех троих был Вюрцбург, откуда сначала, выйдя замуж за проезжего поляка, уехала Магда, а затем, после смерти молодой жены, скончавшейся в родильной горячке, его покинул и Маттиус, перебравшись под крыло к епископу в соседний Ашаффенбург. Достопочтенный же Балтазар Фик остался жить в родных местах и стал достойным гражданином своего города, получив после успешного окончания базельского университета должность архивариуса в магистрате. По неким не подлежащим огласке городским делам и личной просьбе бургомистра Балтазар был послан в Кольмар, по дороге в который не мог миновать Изенгейма, зная, что там сейчас обитают и художник, и трактирщица.

Встреча с последней произвела на него совершенно ошеломляющее действие. Магда и в юности была хороша собой, но из-за польского происхождения из семейства портняжек, обращать на нее внимание благородным юношам не дозволялось, хоть они все равно засматривались на высокую статную белокурую польку. С годами же она только расцвела и окрепла, так что сейчас перед архивариусом сидела зрелая, ядреная, словно яблоня в августе, богатая вдова-трактирщица, чья красота хоть и не совпадала с благородными канонами бледности, худобы и плоскогрудости, но от этого становилась лишь еще заманчивее. Балтазар распустил хвост, словно павлин, и осыпал даму комплиментами, вознося хвалу ей самой и ее такому же крепкому и устойчивому хозяйству. Магда наслаждалась, не обращая внимания на обрюзглую, изрытую оспинами физиономию архивариуса и награждая себя за муки молодой бедной зависти, с которой она смотрела вслед богатым немкам Вюрцбурга. Лишь один Маттиус испытывал жесточайшие муки, глядя на то, как вспыхивает румянец и играют ямочки на круглых щеках трактирщицы, лукаво порхают ресницы и вздымается пышная молочно-белая грудь. За три года изучив своенравный характер своей неверной редкой возлюбленной, он слишком хорошо знал, чем кончаются такие вечера, когда раздается этот прерывистый, звонкий смех, быстрый, как серебряный колокольчик. А уж если она одевала на голову новомодное арселé, украшенное по верху жемчугом, дела были совсем плохи, – до Маттиуса Магда снисходила лишь в домашнем, небрежно намотанном на волосы гебинде. В силу этих примет художник был мрачен, насуплен и неразговорчив, предпочитая вино сыру и рыбе. Когда принесли третий графин, Маттиус наконец почувствовал себя достаточно пьяным, чтобы решиться прервать сладко разворковавшихся голубков.

– Что же, дражайший Балтазар, ты ничего не рассказываешь нам о событиях нашего родного Вюрцбурга? Вот уж час с лишним, как мы сидим за этим столом, а вы все любезничайте с честной вдовицей, мир праху ее мужа! А как здоровье твоей жены, почтенной Фриды? Что вообще интересного в городе?.. – повышая голос, грозно спросил он.

Архивариус и трактирщица разом вздрогнули, словно их обоих щедро окатили из ушата холодной водой, и изумленно посмотрели на художника, как бы вспомнив о том, что за столом их трое. Магда кисло поджала губы. Балтазар мелко заморгал белесыми поросычкими ресницами, но потом, вспомнив о том, что художник ведет активную переписку со священниками Ашаффенбурга и шлет отчеты о своей деятельности самому епископу, а от Ашаффенбурга до Вюрцбурга лишь четыре часа верховой езды, решил, что и вправду увлекся. Потирая ладони,

он соображал, куда бы вернее повернуть тему беседы, а затем вдруг прищелкнул пальцами правой руки, словно ухватив мысль за кончик хвоста.

– Ах, любезный Маттиус, – подавшись непропорционально длинным туловищем к художнику и вытянув морщинистую шею, начал он, – весь наш родной Вюрцбург погружен в ужас и страх, и горожане только и знают, что шепчутся, судят да рьят об одной странной и мрачной смерти, что приключилась две недели назад.

– Кто же умер, драгоценный Балтазар? – без особого любопытства, довольно равнодушно поинтересовался художник, про себя, впрочем, радуясь тому, что горячий румянец постепенно уходит с лица Магды.

– Ни кто иной, как наш школьный учитель, герр Курц Цвибель, обучавший нас с тобой письму и счету и наказывавший розгами за шалости.

– Вот как... – Маттиус сдвинул брови и завертел в испачканных красками пальцах стакан с вином. – Да, это действительно, скорбная весть, – учитель Цвибель был опытным наставником юных душ и даже розги брал в руки с любящей улыбкой, сожалея о том, что придется уязвить нашу плоть. Но что же с ним приключилось, Балтазар? Если бы на город напала чума или холера, нас бы известили. Не угодил ли он под нож злодею?

– Ах, если бы, любезный Маттиус, – волнуясь, воскликнул архивариус. – Если бы! Такая смерть помогла бы ему попасть прямоком в рай, а сейчас он наверняка пьет адскую смолу, и черти поджаривают его на сковородке, как кусок свиной ляжки! Можешь ли ты себе представить, что несчастный Цвибель увлекся чернокнижием и в последние пять лет, отучив с утра детей, по вечерам сам учился магическому искусству! Страсть же эту внушил ему некий опасный чародей Хаус, который сообщил глупому Цвibelю одно из заклинаний, способное загнать дьявола в бутылку. Исполнившись надежды завладеть нечистым, наш Цвибель отправился в лес, ночью, чтобы никто не помешал ему в этом деле. Но случилось, что, начав произносить заклинание, он сбился, и внезапно явился ему дьявол в устрашающем виде: глаза огненные, нос – как рог у быка, зубы длинные, что кабаньи клыки, морда покрыта шерстью!.. Весь вид его был столь страшен, что учитель в ужасе упал на землю и долго лежал как мертвый. Когда же он, наконец, очнулся и, весь дрожа, пошел к воротам города, повстречались ему по пути друзья, которые спросили, почему он так бледен и перепуган, но, онемев от страха, он не мог произнести ни слова, а когда они привели его домой, стал испускать дикие вопли и вскоре впал в полное безумие. По прошествии года к нему вновь вернулась речь, и он поведал о том, как ему явился дьявол и в каком виде. Затем он причастился и на третий день, вверив душу Богу, покинул нашу грешную землю.

– Ах, страсти Господни! – взвизгнула Магда, закрыв от ужаса пухлыми белыми ладошками разрумьянившееся от вина и страшного рассказа личико. Серебряное колечко на безымянном пальчике задрожало и изумруд, помещенный в узорчатую оправу, заиграл неровным зеленым светом, отбрасывая трепещущие отблески на лица мужчин. Через мгновение пальцы раздвинулись и между ними показался расширенный от напряженного страха и глубоко затаенного любопытства черный зрачок, вытеснивший голубизну Магдиных глаз. – Но кто же сей ужасный Хаус, что обучил несчастного учителя этому заклинанию?..

Волнение Магды передалось рассказчику, и он непроизвольно начал поглаживать ее по спине, скользя ладонью по шелку рубашки и задерживаясь пальцами на дырочках корсета. Заметив это, Маттиус отвернулся и посмотрел на завешанный холстами алтарь. «Ты обещал не ревновать эту блудливую кошку», – напомнил он сам себе и разом отпил полстакана вина.

– Говорят, – снизив голос до хриплого шепота, продолжал Балтазар – говорят, что он именуется магом Георгием Сабелликусом, Хаусом младшим, кладезем некромантии, астрологом и великим магом, аэромантом, пиромантом, хиромантом и преуспевающим гидромантом.

Не поняв ни одного из титулов Хауса и обманувшись в своих жадных ожиданиях, рассерженная Магда резко выпрямилась и сбросила со своей спины навязчивую руку архивариуса. Испугавшись, что трактирщица обидится и лишит его сегодняшней ночи, надежды на которую подкреплялись захваченным на всякий случай в Вюрцбурге мотком настоящих белоснежных фламандских кружев, Балтазар торопливо перекрестился и, словно бы в забывчивом волнении схватив Магду за голое предплечье, прошептал: – Говорят, будто это еретик, продавший свою душу дьяволу!..

Магда слабо охнула, откинув голову назад, а Маттиус, не в силах смотреть на прикосновения архивариуса, встал и начал ходить взад-вперед по мастерской от обеденного стола до кбзел, поставленных рядом с алтарем. «Господи, Господи, – поднимая глаза к высокому темному потолку, прошептал он чуть слышно, – сделай что-нибудь, чтобы она угомонилась. Иначе это кончится тем, что я или зарежу ее, или повешусь сам».

– Когда к Цвибелю вернулся дар речи, – продолжал тем временем Балтазар, – он много чего рассказал об этом грешнике. При больном для ободрения его духа и хлопот, доставляемых телом, сидел один из его учеников и случилось так, что выбор Цвибеля чаще всего падал на моего родного племянника Иоганна Вольфганга, который оказался смышленным малым и записал рассказы умирающего. Могу вам сказать, друзья мои, что когда я прочел иные из откровений, волосы на моей голове зашевелились от ужаса! Так, поведал Цвибель, что довелось ему обедать с Хаусом в Большой коллегии в Базеле, и велел Хаус в харчевне повару изжарить птиц, отдав ему лично несколько тушек, при этом тогда их нигде не продавали, да и птиц таких в Базеле не водилось, так что ни купить, ни привезть их с собой он не мог.

Магда слушала архивариуса заворожено, как ребенок, приоткрыв алый рот и до бровей распахнув небесно-голубые глаза. Ободренный вниманием женщины, тот придвинул стул к ней поближе, подлил вина и потихоньку начал поглаживать ее левую руку, забираясь длинными пальцами под оборку рукава. Пальцы шевелились, как черви, и Маттиус вздрогнул от холодного отвращения, одновременно ощущая жар в щеках и ушах и тяжеловесные удары разгневанного сердца, колотившегося прямо о ребра.

– Еще открыл Цвибель, что видел он у Хауса собаку с конем, которые были не иначе как бесами, ибо они могли выполнять все, что угодно. И записано племянником моим, Иоганном Вольфгангом, что видел Цвибель несколько раз самолично, как та собака иной раз оборачивалась слугой и доставляла хозяину еду. Лошадь же умела перемещать Хауса в какое угодно место всего за десять минут, как бы далеко тот город или селение ни находилось! Однажды на масленицу, поужинав дома в Мейссене, Хаус посадил Цвибеля сзади и помчал его за шестьдесят миль в Зальцбург выпить на сон грядущий хорошего вина из погреба тамошнего епископа. Здесь во время попойки их случайно застал келарь и стал обзывать ворами. Тогда они отправились снова восвояси, а келаря забрали с собой, и по пути Фауст посадил его в лесу на верхушку большой сосны, а сам с Цвибелем полетел дальше, и они именно летели, а не скакали! Был также Цвибель свидетелем того, как однажды, когда погребщикам в Ауэрбаховском винном погребе никак не удавалось выкатить непочатую бочку с вином, сей великий черно-книжник сел на нее верхом и силою его чар бочка сама поскакала на улицу!..

Войдя в раж, Балтазар осмелел и уже совсем приблизил свою длинную физиономию к лицу хорошенькой трактирщицы, – его рот искривился от похоти, а в углах губ блестела слюна. На мгновение из черных, изъеденных зубов высунулся скользкий красный язык, и Маттиус даже застонал от ярости. Ему вдруг невыносимо захотелось ударить кулаком что есть силы Магду по лицу, чтобы та очнулась от этого наваждения. Но она нисколько не сопротивлялась телодвижениям архивариуса и словно бы даже сама подавалась к нему, выгнув спину и часто поднимая во взволнованном дыхании пышную грудь.

– Самый же невероятный случай наблюдал Цвибель, когда занес его чародей в Саксонию и повел там на пирушку в трактир, где стакнулся с другими собутыльниками и стали они пить, и

при каждой здравице осушали кружки наполовину, а то и до дна, как это в обычае у саксонцев, да и у всех других немцев. И случись тут, что прислуживавший мальчишка налил то ли в кружку, то ли в кубок Хауса так много вина, что оно перелилось через край. Хаус выбранил его и посулил сожрать, повторись это еще хоть раз. Мальчишка посмеялся: «Так уж вам и сожрать меня!» – и еще раз налил ему через край. Тогда Хаус широко открыл пасть и проглотил его; затем он схватил кадку с водой и со словами «Хорошую еду надо хорошо запить» опрокинул ее в глотку. Тут хозяин стал его уговаривать вернуть ему мальчика, угрожая в противном случае разделаться с гостем. Хаус велел ему не тревожиться и поглядеть за печкой. Мальчишка там и оказался, на нем не было сухой нитки, и весь он трясся от страха. А запихнул его туда черт, успев сначала вывернуть на него кадку воды. Этот же черт так отвел глаза всем, кто был в харчевне, что им померещилось, будто доктор Хаус сожрал парня и проглотил кадку воды!

На последнем слове изо рта архивариуса вылетели увесистые брызги слюны, попав Магде прямо на щеку. Она вздрогнула и отшатнулась, дымчатая поволока на ее голубых глазах начала быстро таять, а зрачок сужаться. Достав из лифа платок, трактирщица брезгливо вытерла обе щеки и, поджав губы, взглянула на Балтазара, все-таки ожидая продолжения рассказа об увлекательных проделках веселого доктора. Но тот сидел, оторопело выпучив глаза, и не мог сообщить, каким образом заглядить свой промах. Повисла пауза. В углу мастерской внезапно тоненько затрещал сверчок. Поняв, что продолжения не последует, Магда благочестиво перекрестилась и, разочарованно вздохнув, назидательно произнесла:

– Вот что дьявол учинять умеет...

– Дьявол, госпожа Магда, – скрипучим голосом медленно произнес художник, глядя не на собеседников, а в темнеющее окошко, за которым махал красной лапой молоденький клен, пронзительно-яркий в лучах закатного октябрьского солнца, – дьявол, госпожа моя, удивительный мастер: может он творить такие художества, которые кажутся натуральными, так что мы и не знаем, как отличить обман от правды. Повествуют о многих чудесах магии, коими восторгаются невежды. Отец лжи внушает людям веру в то, что чародеи могут предвидеть будущее, что от них не могут быть скрыты никакие тайные намерения, никакие помыслы, что в их власти доставить сюда и обратно по воздуху королевских детей, наколдовать неисчислимы количества войск, повозок и коней, что им открываются клады, что они могут скреплять или разрушать узы брака и любви и даже излечивать стигийскими снадобьями все неизлечимые недуги, далеко зашедшую чахотку, сильную водянку и застарелую дурную болезнь. Да, госпожа Магда, дьявол может творить много, много удивительного. Однако и церковь имеет свои чудеса, и коли грешник отстанет от того безрассудства, которым его, как оно чаще всего бывает, дьявол прельстил в молодые годы, и отмолит у бога свои грехи, то он может заслужить прощение и увидеть, что искусство всех прорицателей – дело пустое и разлетается легковеснее, чем мыльный пузырь.

Тяжело повернувшись, Маттиус подошел к столу, налил себе полный бокал вина и, неторопливо глотая, запрокидывая шею и мелко двигая острым кадыком, выпил его весь до конца. Магда и архивариус сидели с несколько смущенным видом, не зная, как реагировать на столь внушительное вступление: Магда теребила в пальцах кружевной платочек, а Балтазар начал было нервно грызть острый желтоватый ноготь на большом пальце левой руки, но спохватился и, выдернув его изо рта, для надежности спрятал обе руки за спину и вытянул губы трубочкой, показывая, что он готов и на шутку, и на серьезный разговор. Утерев усы рукой, Маттиус почувствовал, как винная волна растеклась в обе стороны, – закружилась голова, в ушах послышался легкий морской шум, ноги же приятно онемели, а пальцы будто закололо мелкими острыми иголочками. Не сдержавшись, Маттиус два раза громко икнул, ухмыльнулся, оперся руками о край стола и нагнулся к сидящим, вперив в них злобный хмельной взгляд.

– Знал я, – насмешливо продолжил он, – одного человека по имени Хаус, он был родом из Книтлингена, маленького городка в Швабии. Познакомились мы с ним пятнадцать... а,

впрочем, нет, уже шестнадцать лет назад в Италии, где я до того провел год в подмастерьях у великого Боттичелли, с трепетом следя за каждым движением его волшебной кисти. После того, как срок моего ученичества минул, и следовало возвращаться домой в Баварию, со слезами на глазах я простился с мессиром, которого успел полюбить всей душой, но решил не ехать домой прямо, а завернуть из Флоренции в Венецию, дабы посмотреть на сей дивный город, плывущий по волнам Адриатики, словно черный лебедь. Но судьба, любезные мои друзья, не дала мне ступить ни шагу по мостовым этого города: не дождавшись ночи, вынужден я был спешно покинуть постоялый двор, на который завернул передохнуть, добравшись до городских ворот, и под ночным покровом спешно бежать прочь, словно тать или разбойник, хотя я ничем не нарушил спокойствия венецианских каналов. Не успел я кинуть свой мешок и снять плащ, сесть за стол и отпить глоток холодного белого вина, как подсел ко мне незнакомец, внезапно обратившийся ко мне по-немецки: «Scheint es, mein Herr, dass Sie sind ein Deutscher, nichts wahr?..»⁵⁸

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.